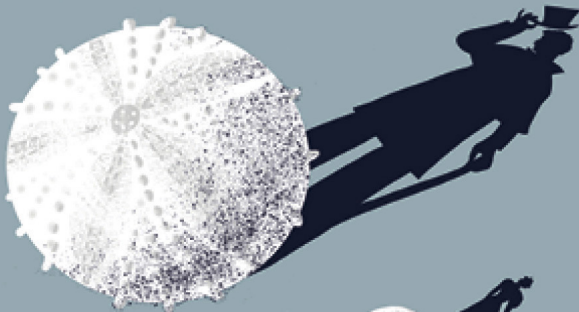


Джон Фаулз

ЖЕНЩИНА  
ФРАНЦУЗСКОГО  
ЛЕЙТЕНАНТА



# Джон Роберт Фаулз Женщина французского лейтенанта

Серия «На берегах фантазии.  
Проза Джона Фаулза»

*Текст предоставлен издательством*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=51703243](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=51703243)*

*Женщина французского лейтенанта / Джон Фаулз: Эксмо; Москва;  
2020*

## Аннотация

Джон Фаулз – один из наиболее выдающихся британских писателей XX века. Он – современный классик, автор мировых бестселлеров «Коллекционер», «Дэниел Мартин» и «Куколка». Его книги разошлись многомиллионными тиражами, были переведены на несколько десятков языков и успешно экранизированы.

«Женщина французского лейтенанта» – один из главных романов Фаулза. Завлекая читателя пикантной любовной фабулой, сочетая реалистическую традицию с элементами детектива и мистики, Фаулз вступает на поле постмодернизма.

Эта книга – яркий пример необузданного воображения.

# Содержание

1	4
2	9
3	17
4	28
5	38
6	46
7	56
8	65
9	75
10	96
11	106
12	122
13	137
14	144
15	154
16	160
Конец ознакомительного фрагмента.	163

# Джон Фаулз

## Женщина французского лейтенанта

*Всякая эмансипация состоит в том, что она возвращает человеческий мир и человеческие отношения самому человеку.*

*Карл Маркс. К еврейскому вопросу (1844)*

### 1

*На запад лишь  
В даль морскую  
Твой взгляд устремлен,  
В ненастье и тишь,  
Тайны взыскуя,  
Похожей на сон;  
Так ты стоишь  
С давних времен,  
Ног под собой не чуя.*

*Томас Харди. Загадка*

Хуже восточного ветра в заливе Лайм ничего не бывает — этот залив отхватил самый большой кусок от нижней части ноги, которую Англия выпростала в юго-западном направ-

лении, – и любой зевака выдвинул бы не одну серьезную гипотезу по поводу парочки, которая прохаживалась по набережной Лайм-Риджиса, маленького древнего эпонима этого огрызка, на редкость ветреным и пронизывающим утром позднего марта 1867 года.

Мыс Кобб приучал постоянных наблюдателей к своему виду на протяжении по меньшей мере семи столетий и для жителей Лайма был всего-навсего древней серой стеной в виде длинной лапы, принимающей на себя морские вызовы. А поскольку он расположен вдалеке от главного городка – такой крошечный Пирей по отношению к микроскопическим Афинам, – они почти перестали смотреть в его сторону. За все эти годы им пришлось изрядно раскошелиться на ремонт, чем до известной степени объяснялась их некоторая неприязнь. Но для не столь придирчивого взгляда стороннего налогоплательщика он из себя представлял красивый морской вал на южном побережье Великобритании. И не столько потому, что, как говорится в путеводителях, от него веет семисотлетней английской историей, или что именно отсюда отплывал флот навстречу Армаде, или что на берег неподалеку отсюда высадился Монмут...<sup>1</sup> а просто это великолепный образчик народного искусства.

---

<sup>1</sup> Герцог Монмут (1649–1685), побочный сын английского короля Карла II. После смерти Карла II предпринял попытку взойти на престол, свергнув брата Иакова II. В июне 1685 г. высадился в Англии, но, не найдя поддержки у населения, потерпел поражение в битве при Седжмуре, был взят в плен, а затем казнен. (Здесь и далее примеч. переводчика.)

Примитивный, но достаточно сложный; слоноподобный и при этом изящный; тонкие изгибы и формы, как у Генри Мура или Микеланджело; весь из чистой прозрачной соли, само олицетворение массы. Я преувеличиваю? Возможно. Но меня легко проверить, поскольку Кобб почти не изменился со времени моего описания, в отличие от Лайма, поэтому, если развернуться лицом к берегу, проверка будет выглядеть некорректной.

А вот если бы вы развернулись к берегу, то есть в сторону севера, в 1867 году, как это сделал в тот день мужчина, вашему взору открылся бы очень гармоничный вид. Живописное скопление десятка домов и пристроившаяся у основания мола скромная лодочная мастерская, где, подобно арке, на стапели вздымалась грудная клетка парусного судна. В полумиле к востоку, среди покатых лугов, виднелись соломенные и черепичные крыши Лайма, городка, пережившего свой расцвет в Средние века и с тех пор постепенно приходящего в упадок. К западу мрачные серые утесы, получившие у местных название Бдительной гряды, отвесно торчали над галечным берегом, на который Монмут сошел когда-то в помрачении рассудка. За грядой, еще дальше от моря, толпились другие утесы, замаскированные густыми лесами. Так что Кобб представлялся последним оплотом дикого, постепенно разрушаемого берега. Это тоже легко проверить. Ни тогда, ни сейчас в этой стороне не просматривалось ни одного жилого дома, если не считать прибрежных хижин.

Местный шпион, а таковой присутствовал, мог бы сделать вывод, что эти двое – приезжие, люди со вкусом, пожелавшие насладиться видами, невзирая на ветродуй. Однако телескоп с сильным увеличением позволил бы ему предположить, что одиночество вдвоем интересует их куда больше, чем морская архитектура, и он наверняка отметил бы, что, судя по их внешнему виду, они принадлежат к высшей касте.

Молодая дама была одета по последнему писку моды с учетом того, что в 1867 году подул новый ветер: женщины восстали против кринолина и больших шляп. Телескоп позволял увидеть пурпурную юбку, вызывающе узкую и достаточно короткую, так как из-под нее и сочно-зеленой накидки выглядывали белые щиколотки в черных ботинках, деликатно цокавших по камням, убранный под сеточку шиньон венчала нескромная шляпка с круглой плоской тульей и загнутыми кверху полями, а сбоку изящный пучок перышек цапли – шляпный стиль, какой местные дамы не рискнут себе позволить по меньшей мере еще год. А высокий джентльмен в безукоризненном светло-сером костюме и с цилиндром в свободной руке радикально укоротил бакенбарды, что арбитры английской мужской моды еще год или два назад расценили бы как некоторую вульгарность, присущую разве что иностранцу. Даже сегодня цвета одежды этой дамы многие сочли бы смелыми, но надо учесть, что мир тогда с удивлением открывал для себя анилиновые красители, и женский пол, компенсируя всевозможные запреты, требовал от наря-

да не столько скромности, сколько блеска.

Но кто по-настоящему озадачил бы вооруженного телескопом наблюдателя, так это еще одна фигура. Она стояла в самой дальней точке сурового изогнутого мола, опираясь на ствол торчащей вверх старинной пушки, издали напоминавшей швартовую тумбу. Она была во всем черном. Ветер развеивал ее одежды, но она, не шевелясь, все глядела, глядела в море, больше похожая на живой мемориал утопленным, мифологическую фигуру, чем на неотъемлемую часть заурядного провинциального дня.



## 2

*В том году (1851) население Великобритании составляло 8 155 000 женщин старше десяти лет и 7 600 000 мужчин. Из чего следует, что если общепринятая судьба викторианской девушки заключалась в том, чтобы стать женой и матерью, то она должна была столкнуться с нехваткой женихов.*

**Э. Ройстон Пайк. Человеческие документы викторианского золотого века**

*Серебряный парус раскину,  
Уйду от родимой земли;  
Фальшивой слезой сверкнете за мной,  
Когда я исчезну вдали.*

**Народная песня «Провожая Сильвию»**

- Моя дорогая Тина, мы уже воздали должное Нептуну. Он нас простит, если мы сейчас повернемся к нему спиной.
- Вы не очень-то галантны.
- Простите, вы это к чему?
- Мне казалось, что вы желаете продлить возможность поддерживать меня за руку, и вдруг подобная бесцеремонность.
- Вы стали такой чувствительной.
- Мы же не в Лондоне.

– У Северного полюса, если не ошибаюсь.

– Я хочу дойти до самого конца.

Мужчина с выражением отчаяния на лице, как будто материковая часть теперь для него навсегда закрыта, снова развернулся, и пара продолжила свой променад по молу.

– А еще я хочу знать, что произошло между вами и папа в прошлый четверг.

– Ваша тетушка уже вытянула из меня все подробности этого приятного вечера.

Девушка остановилась и заглянула ему в глаза.

– Чарльз! Чарльз, вы можете быть сухим как палка со всеми вокруг. Но только не со мной.

– Дорогая, но как нам тогда склеиться в священном браке?

– А свои шуточки вы придержите для одноклубников. – Она повлекла его за собой. – Я получила письмо.

– А-а. Были у меня такие опасения. От мама?

– Я знаю, что-то произошло... за портвейном.

Они молча прошли несколько шагов, прежде чем он решил ответить. На мгновение показалось, что Чарльз намеревался взять серьезный тон, но передумал.

– Признаюсь, у меня с вашим достойным отцом вышел небольшой философский спор.

– Весьма дурно с вашей стороны.

– Я старался быть предельно честным.

– И что же вы обсуждали?

– Ваш отец высказал мнение, что мистера Дарвина следо-

вало бы выставить в зоологическом саду. В клетке для обезьян. Я постарался привести научные аргументы в пользу позиции Дарвина, но безуспешно. *Et voilà tout*<sup>2</sup>.

– Как вы могли? Зная папины взгляды!

– Я был предельно уважителен.

– То есть предельно некорректны.

– Он действительно сказал, что не отдаст свою дочь за человека, который считает ее деда обезьяной. Но, я думаю, по зрелом размышлении он вспомнит, что в моем случае речь идет о титулованной обезьяне.

Она бросила на него быстрый взгляд и, не сбавляя шага, отвернулась, слегка склонив голову набок; этим характерным жестом она обычно выражала свою озабоченность, в данную же минуту это относилось к главному, в ее представлении, препятствию на пути к их помолвке. При том что ее отец нажил огромное состояние, ее дед был простым драпировщиком, тогда как дед Чарльза был баронетом. Он улыбнулся и свободной рукой слегка прижал женскую ручку в перчатке, державшую его под локоть.

– Дорогая, мы уже разобрались. Вы испытываете страх перед отцом – это совершенно нормально. Но женюсь я не на нем. И вы забываете, что я ученый. Я как-никак написал монографию. А если вы будете вот так улыбаться, то я посвящу все свое время окаменелостям, а не вам.

– Я не расположена вас ревновать к окаменелостям. – Она

---

<sup>2</sup> Вот и все (*фр.*).

взяла искусную паузу. – Вы по ним ступаете по меньшей мере уже целую минуту и даже не удосужились заметить.

Он кинул взгляд себе под ноги и стремительно опустился на колени. В Коббе здесь и там обнаруживаются ископаемые останки.

– Господи, вы только гляньте. *Certhidium portlandicum*. Это же оолит из Портленда.

– В чьих каменоломнях я вас похороню навечно, если вы сию же минуту не встанете.

Он с улыбкой подчинился.

– Это я привела вас сюда, а вы не цените. Смотрите. – Она подвела его к краю вала, где плоские камни, врезающиеся в стену, служили своего рода грубыми ступенями к прогулочной дорожке ниже уровнем. – С этих самых ступенек Джейн Остин столкнула Луизу Масгроув в «Доводах рассудка».

– Как романтично.

– Джентльмены были романтиками... тогда.

– А нынче стали учеными? Ну что, рискнем спуститься?

– Когда пойдем назад.

Они продолжили путь. Только сейчас он заметил – или, по крайней мере, осознал – половую принадлежность фигуры на конце мола.

– Мать честная. Я думал, это рыбак, а ведь это женщина!

Эрнестина обратила в ту сторону свои красивые серые глаза, вот только она была близорука и потому различала лишь темный силуэт.

- Молодая?
- Отсюда не разберешь.
- Кажется, я догадываюсь. Это, вероятно, Трагедия, бедняжка.
- Трагедия?
- Ее прозвище. Одно из многих.
- А другие?
- Рыбаки дали ей грубое имя.
- Тина, дорогая, вы можете мне смело...
- Они ее называют... женщиной французского лейтенанта.
- Да уж. Она такой изгой, что приходится целыми днями стоять на пирсе?
- Она... немного не в себе. Давайте повернем назад. Я не хочу к ней приближаться.
- Они остановились. Он вглядывался в черную фигуру.
- Вы меня заинтриговали. Кто этот французский лейтенант?
- Мужчина, которого она...
- Полюбила?
- Хуже.
- Он ее бросил? Остался ребенок?
- Кажется, ребенка нет. Всё сплетни.
- Но что она здесь делает?
- Говорят, ждет его возвращения.
- И... за ней никто не присматривает?

– Она служит у старой миссис Поултни. Но во время наших визитов я ее ни разу не видела. Хотя она там живет. Давайте вернемся, я вас прошу. Мы с ней не знакомы.

Он улыбнулся.

– Если она на вас набросится, я вас защищу, и вы убедитесь, что я не лишен галантности. Идемте.

Они приблизились к фигуре возле пушечного ствола. Женщина держала свою шляпку в руке, а ее волосы были плотно заткнуты назад под воротник довольно странного черного жакета, больше похожего на мужскую охотничью куртку, чем на деталь женского туалета, если говорить о моде последних сорока лет. Хотя она тоже не носила кринолина, было очевидно, что это никак не связано с последними лондонскими веяниями, а просто по забывчивости. Чарльз громко произнес какую-то банальность, тем самым давая женщине понять, что она больше не одна, однако та не отреагировала. Они подошли к точке, откуда был виден ее профиль и взгляд, нацеленный, как винтовка, к горизонту. Из-за сильного порыва ветра Чарльзу пришлось поддержать Эрнестину за талию, а незнакомка еще сильнее вцепилась в пушечный ствол. Сам не зная зачем, возможно чтобы показать своей подруге, как гоняют гусей, он шагнул вперед, как только ветер немного стих.

– Госпожа, мы тревожимся за вашу безопасность. Если ветер усилится...

Она повернулась и посмотрела на него или, как ему пока-

залось, сквозь него. В этот момент его память зафиксировала не столько ее черты как таковые, сколько то, чего он совсем не ждал, — в ту эпоху женское лицо должно было выражать скромность, покорность и стыдливость. Чарльз испытал такое чувство, словно он вторгся на запретную территорию: это лицо принадлежало мысу Кобб, а никак не старинному городку Лайм. Она не была хороша собой, как Эрнестина. Ее лицо ни по каким стандартам или вкусам не назовешь красивым. Но это было незабываемое, трагическое лицо. Из него струилась печаль, такая же чистая, естественная и непреходящая, как вода в лесном ключе. Ни наигрыша, ни ханжества, ни истерии, ни маски и, главное, никаких признаков безумия. Безумными скорее выглядели пустое море и пустой горизонт — не дававшими повода для печали; как будто явление весны естественно само по себе, исключая пустыню.

Впоследствии Чарльз снова и снова уподоблял этот взгляд копью, имея в виду не только предмет, но и производимый им эффект. На короткое мгновение он ощутил себя вероломным врагом, пронзенным и по заслугам низвергнутым.

Женщина ничего не ответила. Ее взгляд задержался на нем не больше чем на две-три секунды, а затем она вновь обратила его к югу. Эрнестина схватила его за рукав, и он, пожав плечами, повернулся к ней с улыбкой. Когда они уже покидали мол, Чарльз сказал:

— Зря вы мне сообщили эти низменные подробности. Вот в чем беда провинциальной жизни. Все про всех известно, и

не остается никакой тайны. Никакой романтики.

В ответ она его подколола:

– Вы же ученый, вы презираете романы.



### 3

*Но еще важнее другое соображение, что все главнейшие черты организации любого живого существа определяются наследственностью; отсюда многие черты строения не связаны в настоящее время непосредственно с современным образом жизни, хотя каждое создание, несомненно, хорошо приспособлено к занимаемому им месту в природе.*

**Чарльз Дарвин. Происхождение видов (1859)**

*Из всех десятилетий нашей истории человек мудрый предпочел бы провести свою молодость в 1850-х.*

**Дж. М. Янг. Портрет века**

После обеда в гостинице «Белый лев» Чарльз разглядывал себя в зеркале. Его блуждающие мысли с трудом поддаются описанию. Они крутились вокруг малопонятных вещей, связанных со смутным ощущением собственного поражения, не имеющим прямого отношения к неожиданной встрече в Коббе. Чарльз перебирал в уме всякие мелочи из разговора за обедом с тетушкой Трантер, когда он сознательно уходил от каких-то тем: в полной ли мере его интерес к палеонтологии раскрывает его природные способности; сумеет ли Эрнестина когда-нибудь понять его так, как он пони-

мает ее; не испытывает ли он чувство бесцельности от одной мысли, что впереди тягучий дождливый день. Не будем забывать, на дворе у нас 1867 год. Ему еще нет тридцати трех. И жизнь ставит перед ним бесконечные вопросы.

Чарльз, видевший себя молодым ученым, вероятно, не так сильно удивился бы, узнав новости из будущего о самолете, реактивном двигателе, телевизоре и радаре; но вот что его точно обескуражило бы, так это совсем другое отношение ко времени. Страшной бедой нашей эпохи считается его нехватка. Наши чувства – поскольку это не вопрос бескорыстной любви к науке и уж точно не особая мудрость – порождают вопрос: почему мы посвящаем столько изобретательности и немалые общественные деньги тому, чтобы ускорить разные процессы? Как будто наша конечная цель – не приблизиться к более совершенному человечеству, а уподобиться молнии. А вот для Чарльза и людей его круга темп человеческого существования твердо определялся словом *адажио*. Проблема заключалась не в том, чтобы вместить в отпущенное тебе время все, что ты вознамерился сделать, а в том, чтобы это как-то растянуть под длинной колоннадой нерастраченного досуга.

В наши дни одним из самых распространенных симптомов богатства являются всякие неврозы; а в ту эпоху главным его симптомом была безмятежная скука. Это правда, что волна революций 1848 года и память о ныне забытых чартистах тогда стояли за спиной современников зловещей

тению, однако для многих, в том числе для Чарльза, самым существенным в этих отдаленных перекатах было то, что они не привели к взрыву. Шестидесятые были безоговорочно тучными годами, и благоденствие, свалившееся на класс ремесленников и даже рабочих, сделало вероятность революции, по крайней мере в Великобритании, практически немыслимой. Само собой разумеется, Чарльз не имел ни малейшего представления о том, что в это самое время в библиотеке Британского музея один бородатый немецкий еврей тихо работал и что его труды в этих величественных стенах принесут столь яркий красный плод. Если бы вы описали Чарльзу сей фрукт или то, как вскоре его станут поглощать все без разбора, он бы вам не поверил, хотя всего через каких-нибудь шесть месяцев после этого мартовского дня 1867 года в Гамбурге выйдет первый том «Капитала».

Но было еще множество личных причин, по которым Чарльз не годился на удобную роль пессимиста. Его дед, баронет, попал во вторую из двух больших категорий английского поместного эсквайра: любители кларета, они же охотники на лис, они же ученые – собиратели всего, что рождено под солнцем. В основном он собирал книги, но в зрелые годы бросил деньги и, главное, терпение семьи на раскопки безобидных холмиков, покрывавших, наподобие прыщей, три тысячи акров его земли в Уилтшире. Кромлехи и менгиры, кварцевые вкрапления и могилы эпохи неолита – все это было предметом его педантичных поисков. А его старший сын,

вступив в наследство, с такой же педантичностью выносил сумками все трофеи из дома. Небеса его за это покарали (или вознаградили): он так и не завел семью. Зато младший сын старика, отец Чарльза, получил всего в достатке – и земли, и денег.

В его жизни случилась лишь одна трагедия: смерть в родах молодой жены и мертворожденный ребенок, не ставший сестрой годовалого Чарльза. Но эту скорбь он проглотил. Он дал своему сыну если не настоящую привязанность, то по крайней мере целую команду домашних учителей и мастеров муштры, а сына он любил чуть меньше, чем себя. Он продал свою долю земли и толково вложил деньги в акции железных дорог... и бестолково – в азартные игры (за утешением он ходил не к Всевышнему, а в «Альмак»<sup>3</sup>); короче, жил так, словно родился в 1702-м, а не в 1802-м, то есть жил в свое удовольствие... и умер, в общем-то, от того же в 1856-м. Чарльз был единственным наследником, и не только сильно пострадавшей отцовской собственности (в конце концов, баккара отыгралась на железнодорожном буме), но со временем и солидного дядиногo состояния. Впрочем, в 1867 году дядюшка, несмотря на то что хорошо запал на кларет, не обнаруживал никаких признаков скоротечной жизни.

Чарльз любил дядю, и тот отвечал ему взаимностью. Но это не всегда отражалось в их отношениях. Он частенько со-

---

<sup>3</sup> Сеть лондонских клубов для высшего света. Первый такой клуб Уильям Альмак открыл в январе 1762 года.

глашался, когда дядя приглашал его поохотиться на куропа-ток и фазанов, а вот от охоты на лис отказывался наотрез. Ему не было дела до того, что мясо жертв несъедобно, а вот безнаказанность охотников вызывала у него отвращение. К тому же он испытывал неестественное пристрастие к ходьбе, но не к езде верхом, а пешие прогулки считались неподходящим времяпрепровождением для истинного джентльмена, за исключением разве только швейцарских Альп. В принципе он не имел ничего против лошади как таковой, однако невозможность наблюдать за всем не спеша, с близкого расстояния вызывала у него, прирожденного натуралиста, резкое отрицание. Но судьба была к нему благосклонна. Как-то осенью, много лет назад, он выстрелил в необычную птицу, убегавшую с пшеничного поля, не единственного в дядином владении. Поняв, какую редкую особь он лишил жизни, Чарльз испытал смутную досаду, ведь это была одна из последних дроф на равнине Салисбери. Зато дядя был в восторге. Из нее набили чучело, и отныне она на всех таращилась своими глазками-бусинками, этакая индюшка с примесью негритянской крови, из стеклянной клетки в гостиной дома в Уинсайте.

Дядя докучал заезжим мелкопоместным дворянам рассказами о том, как все произошло, и всякий раз, когда ему взбрело в голову лишить племянника наследства – при этом он делался пунцовым, так как недвижимость по определению переходила по мужской линии, – дядя вспоминал,

с какой сердечностью он по-родственному смотрел на бессмертный трофей племянника. Да, у того были свои недостатки. Он не всегда писал дядюшке раз в неделю. А приезжая в Уинсайетт, с любовью, достойной лучшего применения, проводил полдня в библиотеке, куда сам хозяин заходил крайне редко, если вообще когда-нибудь заглядывал.

Но числились за ним грехи и посерьезнее. В Кембридже, добросовестно проштудировав классиков и признав «Тридцать девять статей»<sup>4</sup>, он (в отличие от большинства молодых людей того времени) ступил на путь познания. Однако на втором курсе он попал в переплет и туманной лондонской ночью познал нагую девушку. Из пухленьких рук простой кокни он кинулся в объятия Церкви, а днем позже привел в ужас отца известием о том, что желает принять духовный сан. На кризис такого масштаба существовал только один ответ: нечестивый юноша был отправлен в Париж. Там его запятнанная девственность очень быстро почернела до неузнаваемости, как и его планы обручиться с Церковью, на что и рассчитывал отец. Чарльз ясно увидел, кто стоял за Оксфордским движением<sup>5</sup> – римский католицизм *propria terra*<sup>6</sup>. Он отказался растрачивать протестную, но комфортную ан-

---

<sup>4</sup> Нормативный вероучительный документ, регулирующий жизнь англиканской церкви.

<sup>5</sup> Движение, члены которого часто ассоциировались с Оксфордским университетом, выступало за восстановление традиционных аспектов христианской веры. Постепенно это развилось в англо-католицизм.

<sup>6</sup> Как таковой (*лат.*).

глийскую душу – доля иронии на долю условности – на ладан и папскую непогрешимость. Вернувшись в Лондон, он проштудировал десяток религиозных теорий (*voyant trop pour nier, et trop peu pour s'assurer*<sup>7</sup>) и в результате вышел из воды здоровым агностиком<sup>8</sup>. Своего божка он обнаружил в Природе, а не в Библии. Родись он на сто лет раньше, был бы деистом или, возможно, пантеистом. За компанию он ходил на утреннюю воскресную службу, но в одиночку выбирался крайне редко.

В 1856-м, проведя в «столице греха» полгода, он вернулся в Англию. Через три месяца умер его отец. Большой дом в Белгравии был сдан в аренду, а Чарльз поселился в скромных апартаментах в Кенсингтоне, более подходящих для молодого холостяка. О нем заботились слуга, повар и две служанки – более чем скромно для человека с его связями и состоянием. Но ему там было хорошо, и еще он много путешествовал. Одно или два эссе, посвященных этим странствиям, он отдал в модные журналы. Предприимчивый издатель даже предложил ему написать книгу о девяти месяцах, проведенных в Португалии, но Чарльз усматривал в авторстве что-то не совсем достойное, и к тому же это потребовало бы серьезного труда и долгой концентрации внимания. Он немно-

---

<sup>7</sup> Видя слишком много, чтобы отрицать, и слишком мало, чтобы уверовать (*фр.*).

<sup>8</sup> Хотя сам себя он бы так не назвал по той простой причине, что это выражение было придумано Олдосом Хаксли только в 1870 году, и очень кстати. (*Примеч. автора.*)

го поиграл с самой идеей — и отказался. Вообще игра с идеями сделалась его главным занятием на третьем десятке.

Медленно дрейфуя в потоке викторианского времени, он, в сущности, не был таким уж легкомысленным. Случайная встреча с человеком, знавшим о маниакальном увлечении его деда, открыла ему глаза: это только в их семье бесконечная муштра, которую старик устраивал ничего не понимающим местным мужичкам, брошенным на какие-то раскопки, была предметом шуток. Другие его знакомые вспоминали сэра Чарльза Смитсона как пионера-археолога, изучавшего Британию до римского вторжения, а отдельные предметы из его утраченной коллекции с благодарностью приютил Британский музей. И постепенно Чарльз осознал, что по своему темпераменту он ближе к деду, чем его родные сыновья. В последние три года он все больше увлекался палеонтологией, новой областью его интересов. Он стал посещать *conversazioni*<sup>9</sup> Геологического общества. Дядя смотрел на племянника, покидающего Уинсайетт с молотками и сумкой для сбора камней, с неодобрением; в его представлении помещному джентльмену пристало иметь при себе только хлыст и охотничью винтовку, но по крайней мере это был шаг вперед, если вспомнить чертовы книги в чертовой библиотеке.

Однако еще больше дядю расстраивал в племяннике другой изъян. Желтые ленты и нарциссы, символы Либеральной

---

<sup>9</sup> Обсуждения (*итал.*).



партии, были для Уинсайетта как красная тряпка для быка. Старик, лазурнейший тори, имел свой интерес. Но Чарльз вежливо отклонял все попытки сделать из него поборника Парламента. Он заявлял о своей политической неангажированности. Втайне же восхищался Гладстоном, который в их родном городке считался злейшим предателем, чье имя даже не упоминалось. Таким образом, не проявив уважения к семье и продемонстрировав социальную праздность, он сам себе перекрыл возможности естественного карьерного роста.

Боюсь, что праздность была его отличительной особенностью. Как многие современники, Чарльз ощущал, что былая ответственность за свои действия уступает место все возрастающему самомнению; новую Британию двигает вперед стремление быть уважаемой вместо прежнего желания делать добро ради добра. Он понимал, что слишком придиричив. Но как можно писать историю, когда у тебя за спиной стоит Маколей<sup>10</sup>? Сочинять прозу и стихи в центре галактики, состоящей из величайших талантов в английской литературе? Быть креативным ученым при живых Лайелле<sup>11</sup> и Дарвине? Быть государственным деятелем, когда Дизраэли и Гладстон, будучи на разных полюсах, заняли все свободное пространство?

Как видите, Чарльз поставил для себя высокую планку.

---

<sup>10</sup> Томас Маколей (1800–1859) – британский государственный деятель, историк и литератор.

<sup>11</sup> Чарльз Лайелл (1797–1875) – основоположник современной геологии.

Праздные умники делают так всегда, чтобы оправдать перед своим умом свою же праздность. Короче говоря, он позаимствовал байроническую тоску, но был лишен двух важнейших качеств Байрона: гениальности и любвеобильности.

Но хотя смерть можно отодвинуть, в чем не сомневаются матери с дочками на выданье, рано или поздно она милостиво наносит нам визит. При том что у Чарльза не было широких перспектив, он оставался интересным молодым человеком. Заграничные путешествия, увы, несколько сняли с него патину человека, напрочь лишенного чувства юмора (это качество с викторианской прямоотой называлось благонаравием, честностью и прочими словами, уводящими от сути), что требовалось от истинного английского джентльмена того времени. В его поведении присутствовал налет цинизма, верный признак внутреннего морального разложения, вот только при его появлении в обществе мамыши тут же начинали его разглядывать, папаши похлопывали его по спине, а девицы принимались нервно хихикать. Чарльзу нравились красивые девушки, и он был не прочь подыграть им и их честолюбивым родителям. В результате он снискал репутацию человека осторожного и холодного; вполне заслуженная награда для того, кто в тридцать лет владел этим искусством не хуже лесного хорька: обнюхав приманку, он ловко ускользал от хорошо завуалированных матримониальных капканов, расставленных у него на пути.

Дядя частенько выводил его на эти разговоры, а Чарльз от-

шучивался: сами-то пользуетесь гранулированным порошком. Старик принимался ворчать:

– Я еще не встретил подходящую женщину.

– Глупости. Вы по-настоящему и не искали.

– Неправда. Когда я был твоего возраста...

– Вы жили ради своих гончих и охоты на куропаток.

Старик мрачно глядел в стакан с кларетом. Он не особенно жалел о том, что не женат, но горевал, что у него нет детей, которым можно покупать пони и оружие. Вот так уйдет, не оставив никакого следа.

– Я был слеп. Слеп.

– Дорогой дядюшка, не переживайте. У меня отличное зрение, и я высматривал подходящую девушку, но увы.

*Что сделано, останется в веках!  
 Тех ждет удача,  
 Кто выполнил любовную задачу.  
 Он мир покинул, сознавая ясно,  
 Что прожил не напрасно.*

*Каролин Нортон. Леди из Ля Гарай (1863)*

*Большинство британских семей среднего и  
 высшего класса жили над выгребной ямой...  
 Э. Ройстон Пайк. Человеческие документы  
 викторианского золотого века*

Большой дом эпохи регентства, принадлежавший миссис Поултни и элегантно подтверждавший ее социальный статус, возвышался на одном из обрывистых холмов на задворках набережной Лайм-Риджис. А вот кухня в подвале с ее функциональными недостатками по сегодняшним меркам явно не выдерживала критики. Хотя обитатели этого дома в 1867 году недвусмысленно дали бы понять, кто является их тираном, все-таки настоящим монстром, глядя из нашего века, вне всякого сомнения, была кухонная плита во всю стену огромного и плохо освещенного помещения. Она состояла из трех печей, которые надо было два раза в день растапливать и два раза в день чистить, чтобы жизнь в доме тек-

ла гладко, и не дай бог огоньку потухнуть. Как бы ни припекало летнее солнце, как бы юго-западный ветер ни разгонял над участком монструозные черные облака дыма из трубы, от которых перехватывало дыхание, немилосердные печи надо было кормить. А во что превратились стены! Они взывали: покрасьте же нас в беленький цвет! Но они оставались свинцово-зелеными, словно от разлития желчи после отравления мышьяком, — о чем даже не подозревали простые обитатели, не говоря уже о жившем на верхнем этаже тиране. Хорошо еще, что в кухне было влажно — монстр выводил наружу дым с топленным салом. И все оседало смертной черной пылью.

Старшиной в этой стигийской казарме была миссис Фэйрли, худенькая, маленькая, всегда ходившая в черном, и не столько как вдова, сколько по настроению. Возможно, ее обостренная меланхолия подогревалась видом бесконечного потока простых смертных, наводнявших ее кухню: дворецкие, посыльные, садовники, конюхи, горничные верхних покоев, горничные нижних покоев... они отнимали так много времени и сил, а потом исчезали. Как недостойно и трусливо с их стороны! Когда тебе приходится вставать в шесть и работать с половины седьмого до одиннадцати, а потом с одиннадцати тридцати до четырех тридцати, а потом с пяти до десяти вечера, и так каждый день, по сто часов в неделю, от твоих запасов милосердия и отваги мало что остается.

Легендарный итог того, что испытывают слуги, подвел дворецкий, после которого сменились еще четверо, при рас-

ставании с миссис Поултни: «Мадам, лучше я проживу остаток дней в приюте для бедных, чем еще неделю под этой крышей». Некоторые усомнились бы в том, что кто-то в принципе мог так дерзить грозной хозяйке, но когда этот человек спустился вниз с вещами и процитировал себя, они с пониманием отнеслись к тому, что он испытал такие чувства.

Каким образом миссис Фэйрли (вот уж неподходящая фамилия<sup>12</sup>) так долго выносила свою хозяйку, оставалось для всех загадкой. Возможно, при ином раскладе она сама стала бы такой миссис Поултни. Ее удерживала зависть, а также мрачное злопыхательство по поводу бед, регулярно обрушивающихся на этот дом. Короче, обе дамы были потенциальными садистками и не без тайного удовольствия терпели друг друга.

У миссис Поултни были две навязчивые идеи – или две стороны одной идеи. Грязь (хотя она делала своего рода исключение для кухни, так как там находилась только прислуга) и Аморальность. Ни то ни другое не ускользало от ее бдительного ока.

Подобно разжиревшему стервятнику, она без устали кружила с неумным наслаждением и, потворствуя первой навязчивой идее, проявляла невероятное шестое чувство в отношении пыли, отпечатков пальцев, недостаточно накрахмаленного белья, запахов, пятен, поломок и прочих бед, коим подвержено всякое жилище. Садовника рассчитывали за по-

---

<sup>12</sup> Дословно: прекрасная, неземная (англ.).

явление в доме с перепачканными землей руками; дворецкого – за винное пятнышко на одежде; неряху служанку – за моток шерсти, оказавшийся под кроватью.

Но, самое ужасное, даже за пределами собственного дома она не признавала каких-либо ограничений своей власти. Отсутствие на воскресной церковной службе, как утренней, так и вечерней, воспринималось ею как безоговорочное доказательство крайней моральной распущенности. Не дай бог увидеть служанку прогуливающейся с молодым человеком в редкий для нее свободный день – раз в месяц, со скрипом. И не дай бог влюбленному молодому человеку тайно подобраться к «дому Марлборо», где ему назначили свидание; сад был напигован человеческими капканами – «человеческими» в том смысле, что поджидавшие его челюсти, хоть и лишённые зубов, запросто могли сломать ему ногу. Эти железные охранники были у миссис Поултни в самом большом фаворе. Вот от кого она никогда не избавлялась.

В гестапо для нее точно нашлось бы местечко. Она умела так допрашивать, что самая твердая девица через пять минут ударялась в слезы. Она была, на свой лад, олицетворением самых вызывающе грубых черт восходящей Британской империи. Ее единственным представлением о законе было сознание своей правоты, а ее единственным представлением о правительстве была безжалостная бомбардировка дерзкого населения.

При этом среди равных себе, в очень узком кругу, она сла-

вилась своей щедростью. А поставь вы под сомнение эту репутацию, ваши оппоненты привели бы в ответ неотразимый аргумент: разве добрая, милейшая миссис Поултни не взяла в дом женщину французского лейтенанта? Надо ли добавлять, что добрая, милейшая леди в те дни знала ее под другим, вполне греческим именем.

Эта примечательная история случилась весной 1866-го, ровно за год до описываемых мной событий, и имела отношение к страшной тайне миссис Поултни. А тайна-то – проще не бывает. Она верила в ад.

В то время викарием Лайма был сравнительно свободомыслящий, с теологической точки зрения, мужчина, но при этом он хорошо знал, с какой стороны намазывается маслом его пасторский хлеб. Он вполне устраивал местную паству, традиционно принадлежавшую к низкой церкви<sup>13</sup>. Его проповеди отличались пылким красноречием, а сама церковь обходилась без распятий, икон, украшательств и прочих признаков римской раковой болезни. Когда миссис Поултни объявила ему свои теории грядущей жизни, он воздержался от дискуссии, ибо достаточно скромному священнику не пристало вступать в спор с богатыми прихожанами. Ее кошелек был настолько же открыт для него, насколько был закрыт для ее прислуги, состоявшей из тринадцати человек. Прошлой зимой (уже четвертый год в викторианской Вели-

---

<sup>13</sup> Направление в англиканской церкви с евангелическим уклоном.



кобритании свирепствовала холера) миссис Поултни приболела, и викарий посещал ее так же часто, как доктора, которые решительно заверяли ее в том, что она страдает от обычного желудочного расстройства, а вовсе не от страшной восточной заразы.

Миссис Поултни была женщиной неглупой. Она отличалась проницательностью в практических вопросах, а ее судьба, как и все, что относилось к личному комфорту, имела сугубо практическое значение. Если она себе представляла Бога, то с лицом герцога Веллингтона и с характером бывалого адвоката – к этой когорте она испытывала особое уважение. Лежа в своей спальне, она пыталась разобраться в непростой математической задачке, которая неотвязно ее преследовала: оценивает ли Господь благотворительность по тому, сколько ты дал, или сколько мог бы дать? Тут она располагала более точными цифрами, чем викарий. Жертвуя церкви приличные суммы, она знала, что они недотягивают до предписанной десятины, с коей должен расставаться серьезный претендент на попадание в рай. Она, конечно, скорректировала свое завещание в сторону более сбалансированных расходов после ее смерти, однако не факт, что Всевышний будет присутствовать во время чтения этого документа. А кроме того, так случилось, что, пока она болела, миссис Фэйрли, читавшая ей перед сном Библию, выбрала притчу о вдовьей лепте<sup>14</sup>. Эта притча, всегда казавшаяся миссис Поултни жут-

---

<sup>14</sup> Евангелие от Луки 21: 2–3.

ко несправедливой, лежала в ее сердце несравнимо дольше, чем бациллы энтерита в ее кишечнике. Однажды во время болезни она воспользовалась заботливым визитом викария и осторожно устроила проверку собственной совести. Его первой реакцией было отмахнуться от ее душевных переживаний.

– Дорогая мадам, вы твердо стоите на скале. Создатель всевидящ и премудр. Не нам сомневаться в Его милосердии или в Его справедливости.

– Но если Он меня спросит, чиста ли моя совесть?

Викарий улыбнулся.

– Вы ответите, что она охвачена тревогой. И Он, чье страдание не знает границ, отпустит вам...

– А если нет?

– Дорогая миссис Поултни, за такие речи мне придется сделать вам реприманд. Не нам обсуждать Его решения.

Повисло молчание. Для миссис Поултни викарий как бы раздваивался. Один был не ровня ей в социальном отношении, и от нее зависело, насколько богат его стол и достаточно ли денег на церковные нужды и на исполнение нелитургических обязанностей среди бедных; а другой был представителем Бога, пред коим, выражаясь метафорически, ей следовало преклонить колена. Вот почему ее поведение часто выглядело чудновато и непоследовательно. То *de haut en bas*, то *de bas en haut*<sup>15</sup>, а порой ей удавалось соединить их в од-

---

<sup>15</sup> Сверху вниз, снизу вверх (*фр.*).

ной фразе.

– Если бы бедный Фредерик был жив. Он бы мне дал нужный совет.

– Несомненно. И этот совет не отличался бы от моего, можете быть уверены. Я знаю, он был христианином. А то, что я вам говорю, есть прочная христианская доктрина.

– Это было мне предупреждение. И наказание.

Викарий строго на нее посмотрел.

– Поосторожнее, госпожа, поосторожнее. Это прерогатива Создателя, и не нам туда вторгаться.

Она решила переменить тему. Интересно, как все викарии мира обоснуют раннюю смерть ее мужа? Это осталось между ней и Богом загадкой, подобной черному опалу, и он то сиял грозным предзнаменованием, то казался суммой, которую она уже оплатила в счет будущего покаяния.

– Я жертвовала. Но я не совершала добрых дел.

– Жертвовать – это и есть доброе дело.

– Мне далеко до леди Коттон.

Столь неожиданное снижение в мирскую плоскость викария не удивило. Миссис Поултни уже не раз давала ему понять, как сильно она уступает этой даме в своеобразной гонке набожных. Леди Коттон, жившая в нескольких милях от Лайма, славилась своим рвением по части благодеяний. Она ходила на исповедь, возглавляла миссионерское общество, открыла приют для падших женщин... правда, там установили такое суровое покаяние, что большинство выгодопри-

обретателей в этом «обществе Магдалины» при первой возможности пробирались обратно в яму плотского греха – вот только миссис Поултни знала об этом не больше, чем о вульгарном подтексте прозвища «Трагедия»<sup>16</sup>.

Викарий прокашлялся.

– Леди Коттон является примером для всех нас. – Сам того не зная, он подлил масла в огонь.

– Я должна прийти на исповедь.

– Прекрасно.

– Просто я потом так расстраиваюсь. – Поддержки от викария не последовало. – Это дурно, я знаю.

– Ну-ну.

– Да. Очень дурно.

Во время затянувшейся паузы викарий подумал об ужине, до которого оставался еще час, а миссис Поултни – о своем дурномыслии. А потом заговорила с непривычной для себя робостью, найдя компромиссное решение проблемы:

– Если вам известна благородная дама, столкнувшаяся с неблагоприятными обстоятельствами...

– Я не вполне понимаю, к чему вы клоните.

– Я хочу взять компаньонку. Мне самой сейчас трудно писать. К тому же миссис Фэйрли скверно читает вслух. Если найдется подходящая женщина, я готова предоставить ей жилье.

– Что ж, воля ваша. Я наведу справки.

---

<sup>16</sup> Дословно, по-гречески, «пение козла».

Миссис Поултни слегка поежилась от того, что так бесцеремонно припала на грудь служителю христианской веры.

– Ее моральный облик должен быть безупречен. Я пекусь о своей прислуге.

– Разумеется, госпожа, разумеется.

Викарий поднялся.

– И желательно без родни. От родственников подопечной часто одни хлопоты.

– Я вам порекомендую, не сомневайтесь, только подходящую кандидатуру. – Он сжал ей ладонь и направился к двери.

– И еще, мистер Форсайт. Чтобы она была не слишком юной.

Он отвесил поклон и покинул комнату. Уже спустившись до середины лестницы, он вдруг остановился. Кое-что вспомнил. Подумал. И испытал некое чувство, возможно, не столь уж далекое от злорадства на почве затяжного лицемерия – или, уж точно, недостаточной откровенности с его стороны – в разговоре с облаченной в бомбазин миссис Поултни. В общем, какой-то порыв заставил его развернуться и снова подняться в гостиную. Он остановился на пороге.

– Я вспомнил о подходящей кандидатуре. Ее зовут Сара Вудраф.

*Что тут сказать? Когда бы Смерть  
Несла всему уничтоженье,  
То и Любовь была бы тленье  
Иль тягостная круговерть*

*Влечений грубых и пустых —  
Так в лунных чащах на полянах  
Толчется сброд сатиров пьяных,  
Пресытаясь на пирах своих<sup>17</sup>.*

*Альфред Теннисон. In Memoriam (1850)*

*Молодые люди все рвались увидеть Лайм.  
Джейн Остин. Доводы рассудка*

У Эрнестины лицо идеально соответствовало возрасту: овальное, с маленьким подбородком, нежное, как фиалка. Вы и сейчас можете его увидеть в рисунках великолепных иллюстраторов того времени: Физа, Джона Лича. Ее серые глаза и бледность кожи только подчеркивали изящество всего остального. При первом знакомстве она красиво потупляла взор, словно готовая упасть в обморок, если джентльмен осмелится к ней обратиться. Но легкий изгиб век и такой же изгиб в уголках губ – продолжая сравнение, почти незамет-

---

<sup>17</sup> Здесь и далее In Memoriam в переводе Татьяны Стамовой.

ный, как запах февральской фиалки – перечеркивали, вкрадчиво, но вполне очевидно, ее готовность безоговорочно подчиниться Мужчине, этому земному богу. Ортодоксальный викторианец, возможно, с неодобрением отнесся бы к этой неуловимой отсылке к Бекки Шарп, но что касается Чарльза, то он находил ее неотразимой. Она была так похожа на маленьких чопорных куколок, всяких Джорджин, Викторий, Альбертин, Матильд и прочих, сидевших на балах под надежной охраной... ан нет.

Когда Чарльз покинул дом тетушки Трантер на Бродстрит, чтобы пройти примерно сто метров до своей гостиницы, а потом подняться в свой номер и с серьезным видом – все влюбленные слабы умом, не так ли? – удостовериться перед зеркалом, какое у него красивое лицо, Эрнестина, извинившись перед тетушкой, ушла к себе, чтобы проводить взглядом суженого из-за кружевных занавесок. Это была единственная комната в доме, где она сносно себя чувствовала.

Отдав должное его походке и в еще большей степени тому, как он приподнял цилиндр перед их служанкой, возвращавшейся после выполнения поручения... и *возненавидев* его за это, поскольку девушка могла похвастаться живыми глазками дорсетской крестьянки и заманчивым румянцем, а Чарльзу было строжайшим образом запрещено обращать свой взор на женщин моложе шестидесяти, – к счастью, тетушка не попала под запрет, имея лишний год в запасе, – Эр-

нестина отошла от окна. Комната была обставлена с учетом ее вкусовых предпочтений, подчеркнуто французских: мебель такая же громоздкая, как принято у англичан, но с легкой позолотой и малость поизящнее. А так дом непреклонно, массивно и безоговорочно был выдержан в стиле двадцатипятилетней давности – такой музей предметов, созданных в высокомерном отрицании всего декадентского, легкого и изящного, что могло бы ассоциироваться с памятью или моралью одиозного Георга Четвертого по прозвищу Принни<sup>18</sup>.

Тетушку Трантер невозможно было не любить; сама мысль о том, чтобы сердиться на это невинно улыбающееся и воркующее – да-да, воркующее – существо, казалась абсурдной. Она обладала оптимизмом успешных старых служанок. Одиночество озлобляет – или учит независимости. Тетушка Трантер научилась доставлять радость себе, а закончила тем, что доставляла радость окружающим.

Эрнестина же умудрялась сердиться на тетушку по разным поводам: отказ ужинать в пять часов, похоронная мебель во всем доме, повышенная озабоченность собственной персоной (она не понимала, что жених и невеста желают посидеть одни или погулять вдвоем) и, самое главное, требование, чтобы Эрнестина жила в Лайме.

Бедняжке пришлось пройти через страдания, известные с незапамятных времен единственному ребенку в семье – тяжелый, давящий балдахин родительской заботы. В раннем

---

<sup>18</sup> Prinny – уменьшительное от *prince* – принц.



детстве даже легкое покашливание заканчивалось вызовом врачей; в период половой зрелости по первой ее прихоти появлялись декораторы и портнихи; а стоило ей накукситься, и папу с мамой еще долго мучили угрызения совести. Все это было еще полбеды, пока дело касалось платьев и стенных драпировок, но была одна тема, когда ее *bouderies*<sup>19</sup> и жалобы не могли возыметь никакого действия. Это касалось ее здоровья. Родители не сомневались в том, что у нее чахотка. Обнаружив влажность в подвале, они переезжали в другой дом, а после двухдневного дождя перебирались в другой район. Ее осмотрела половина докторов на Харли-стрит и ничего не нашла. Она никогда ничем серьезным не болела. Ни летаргии, ни хронических слабостей. Она могла бы – если бы ей, конечно, разрешили – протанцевать всю ночь, а утром еще поиграть в волан как ни в чем не бывало. Но шансов поколебать дрожащих над ней родителей у нее было не больше, чем у младенца сдвинуть гору. Если бы они могли заглянуть в будущее! Эрнестина пережила всех своих современников. Она родилась в 1848 году, а умерла в день, когда Гитлер оккупировал Польшу.

Неотъемлемой составляющей столь необязательного режима стало ее ежегодное пребывание в доме родной сестры ее матери в Лайме. Обычно она сюда приезжала для смены обстановки, а в этот раз ее отправили пораньше – набраться сил перед свадьбой. Хотя бриз с Ла-Манша, очевидно, был

---

<sup>19</sup> Возмущение, недовольство (*фр.*).

ей полезен, каждый раз она садилась в экипаж, чтобы ехать в Лайм, с тоской арестанта, отправленного в Сибирь. Местное общество было таким же современным, как тетушкина громоздкая мебель красного дерева, а если говорить о развлечениях, то для девушки, избалованной светским Лондоном, это было хуже, чем ничего. Так что их связь с тетушкой напоминала скорее отношения между пылкой английской Джульеттой и страдающей плоскостопием няней, чем родственные. Если бы прошлой зимой на эту сцену, к счастью, не вышел Ромео, пообещавший скрасить ее тюремное одиночество, она бы взбунтовалась... по крайней мере, сама была в этом почти уверена. Сила воли у Эрнестины явно превосходила пределы допустимого – с учетом эпохи. Но, по счастью, она очень уважала условности. С Чарльзом ее роднили – и это сыграло не последнюю роль в их быстром сближении – юмор и самоирония. Без них она превратилась бы в жутко испорченного ребенка. Так она частенько отзывалась о самой себе («Ты жутко испорченный ребенок»), что во многом ее оправдывало.

В тот день, стоя перед зеркалом, она расстегнула платье и осталась в сорочке и нижней юбке. Несколько секунд она занималась нарциссизмом. Шея и плечи выгодно подчеркивали ее лицо. Она действительно была хороша собой, редкая красавица. И, словно в доказательство этого, она распустила волосы – жест отчасти греховный, как она догадывалась, но такой же необходимый, как горячая ванна или теп-

лая постель в зимнюю ночь. На воистину греховную секунду она вообразила себя порочной женщиной – танцовщицей, актрисой. А затем, если бы вы за ней наблюдали, то увидели бы нечто весьма любопытное. Вдруг она перестала поворачиваться то одним боком, то другим, изучая собственный профиль, бросила короткий взгляд к потолку, пошевелила губами и, поспешно открыв платяной шкаф, облачилась в пеньюар.

Совершая свои пируэты, она поймала в зеркале уголок кровати, и в голове промелькнула сексуальная мысль, фантазия, что-то вроде Лаокоона, обвитого обнаженными женскими конечностями. В совокуплении ее пугало не только собственное глубокое невежество, но еще и окружающая сей акт аура боли и насилия, все это перечеркивало и мягкость жестов, и целомудренность дозволенных нежностей, что так привлекало ее в Чарльзе. Один или два раза она видела совокупляющихся животных, и эта картина насилия надолго врезалась в ее память.

В результате она выработала своего рода внутренний приказ, неприкосновенные вслух слова «Я не должна» на случай любых телесных проявлений – сексуальных, менструальных, детородных, когда ее посещали подобные мысли. Да, можно отгонять волков от жилища, но они продолжают завывать в ночи. Эрнестина желала мужа, и конкретно Чарльза, желала детей, но цена, которую придется за все это заплатить, как она себе смутно представляла, казалась ей чрезмерной.

Она периодически удивлялась, почему Господь разрешил эту животную версию Долга, омрачающую невинное желание. Многие женщины того времени считали так же, как и многие мужчины, и нет ничего удивительного в том, что долг стал ключевой концепцией в нашем понимании викторианской эпохи – и, если на то пошло, обескураживающим понятием в наше время<sup>20</sup>.

Усмирив волков, Эрнестина подошла к туалетному столику, открыла ключом выдвижной ящик и достала свой дневник в черном сафьяновом переплете с золотым замочком. Из другого ящичка она извлекла потайной ключик, которым открыла дневник. Она сразу обратилась к последней странице, куда в день обручения с Чарльзом она вписала месяцы и дни, остающиеся до свадьбы. Два месяца уже были аккуратно вычеркнуты, оставалось еще примерно девяносто дат. Эрнестина отделила от переплета инкрустированный слоновой костью карандаш и вычеркнула 26 марта. Хотя до полуночи оставалось еще девять часов, она по обыкновению позволила себе этот невинный обман. Затем она обратилась к началу дневника, то есть не совсем к началу, поскольку это был рож-

---

<sup>20</sup> Прочитанные в начале этой главы строфы из *In Memoriam* в данном случае весьма уместны. Безусловно, самые озадачивающие из всех озадачивающих аргументов в знаменитой поэме о нашей озабоченности посмертным бытием отражены в этой тридцать пятой строфе. Утверждение, что если не существует бессмертия души, то любовь является нам исключительно в образе Сатира, есть не что иное, как паническое бегство от Фрейда. Для викторианцев рай был раем во многом потому, что плоть оставалась на земле – вместе с *Id*. (*Примеч. автора.*)

дественский подарок. Где-то после пятнадцати страниц, исписанных мелким почерком, обнаружились пустые страницы с вложенной веточкой жасмина. Пару секунд она ее разглядывала, а затем наклонилась и понюхала. Прядка волос упала на страницу. Она закрыла глаза, пытаясь воскресить в памяти ни с чем не сравнимый день, когда казалось, что она умрет от счастья, слезы текли безостановочно, что-то непередаваемое...

Но тут она услышала шаги тетушки Трантер на лестнице, спешно убрала дневник в ящик и начала расчесывать свои воздушные каштановые волосы.

*Ах, Мод, молочно-белый фавн,  
Какая из тебя жена!*

*Альфред Теннисон. Мод (1855)*

Когда викарий вернулся с этим известием, на лице миссис Поултни отразилась озадаченность. А с дамами вроде нее безуспешные обращения к знаниям чаще всего приводят к успешному неодобрению. Ее лицо прекрасно выражало это чувство: глаза уж точно не были «приютом безмолвной молитвы», как сказано у Теннисона, а щеки – каждая как второй подбородок – сдавили губы в заслуженном отвержении всего, что угрожало ее двум жизненным принципам: 1) «цивилизация – это мыло» (я позаимствовал саркастическую формулу Трейчке<sup>21</sup>) и 2) «уважение – это то, что не оскорбляет моих чувств». Сейчас она была похожа на белого пекинеса, а точнее, на чучело пекинеса, поскольку прятала на груди мешочек с камфарой в качестве профилактики от холеры, так что от нее всегда пахло шариками от моли.

– Я такой не знаю.

Викарий, получивший щелчок по носу, про себя подумал,

---

<sup>21</sup> Генрих Трейчке (1834–1896) – немецкий историк и публицист, автор «Истории Германии в XIX веке» в пяти томах.

что было бы, если бы добрый самарянин встретил не несчастного прохожего, а миссис Поултни.

– Ничего удивительного. Девочка-то из Чарнмута.

– Девочка?

– Сейчас женщина лет тридцати. Или чуть больше. Не хочу гадать. – Викарий уже понимал, что начал свою рекомендацию не лучшим образом. – Но случай весьма печальный. Она, безусловно, заслуживает вашего благодеяния.

– Она получила образование?

– Да. В качестве гувернантки. И уже успела поработать.

– А чем занимается сейчас?

– Насколько мне известно, безработная.

– Почему?

– Это долгая история.

– Хотелось бы ее выслушать, прежде чем идти дальше.

Пришлось викарию снова сесть и рассказать ей все, что он знал, или часть того, что знал (в своем отважном стремлении спасти душу миссис Поултни викарий готов был поставить под удар свою собственную) о Саре Вудраф.

– Отец девочки снимал жилье в доме лорда Меритона, недалеко от Биминстера. Простой фермер, но человек высоких принципов и весьма уважаемый в округе. Он поступил мудро, дав ей отличное образование, что трудно было ожидать.

– Он умер?

– Несколько лет назад. Девушка стала гувернанткой в се-

мье капитана Джона Талбота в Чармуте.

– Он ей даст рекомендательное письмо?

– Дорогая миссис Поултни, если я правильно понял наш предыдущий разговор, речь идет о благотворительном деянии, а не о приеме на работу.

Она подтвердила коротким кивком, и большего извинения от нее ожидать не приходилось.

– Без сомнения, такое письмо может быть получено, – продолжил он. – Она покинула его дом по собственному желанию. Дело было так. Вы же помните, как французский барк – кажется, он приплыл из Сен-Мало – прибило к берегу в Стоунбэрроу во время жуткого шторма в прошлом декабре? И вы наверняка помните, что трех членов команды спасли жители Чармута. Два из них – простые моряки. А третий, как я понимаю, морской лейтенант. Ему раздробило ногу, но он уцепился за лонжерон, и волны вынесли его на берег. Вы, конечно, про все это читали.

– Очень может быть. Вообще-то я не люблю французов.

– Капитан Талбот, сам морской офицер, милостиво поручил домашним заботу о... об иностранце. Тот не говорил по-английски. Так что мисс Вудраф пригласили переводить и выполнять его просьбы.

– Она говорит по-французски?

Тревога, с какой миссис Поултни восприняла столь пугающее известие, едва не похоронила все надежды викария. Но он с поклоном учтиво улыбнулся.



– Дорогая мадам, как практически все гувернантки. Не их вина, что миру требуются такие навыки. Но вернемся к французу. Я сожалею, но он не заслужил таких слов.

– Мистер Форсайт!

Она привстала, но не слишком резко, чтобы ее визави не проглотил язык.

– Спешу добавить, что ничего неприличного в доме капитана Талбота не случилось. Как и впоследствии, если говорить о поведении мисс Вудраф. В этом меня заверил мистер Фурси-Харрис, знающий все обстоятельства гораздо лучше меня. – Он имел в виду чармутского викария. – Но француз сумел пробудить к себе чувства мисс Вудраф. Когда его нога зажила, он добрался в экипаже до Уэймута, а оттуда, как считают, уже до дома. Через два дня после его отъезда мисс Вудраф настоятельным образом попросила миссис Талбот ее отпустить. Та, насколько мне известно, пыталась добиться каких-то разъяснений, но безуспешно.

– И она ее отпустила без рекомендательного письма?

Викарий зацепился за этот шанс.

– Я с вами согласен, это было необдуманное решение. Другой работодатель на ее месте не совершил бы такого печального поступка. – Он взял паузу, давая миссис Поултни возможность оценить скрытый комплимент. – Одним словом, мисс Вудраф встретила с французом в Уэймуте. Ее поведение, безусловно, заслуживает осуждения, но, как мне сообщили, она там поселилась вместе со своей кузиной.

– В моих глазах это ее не извиняет.

– Разумеется. Но вы должны помнить, что она не аристократка по рождению. Низшие классы не так задумываются о приличиях, как мы с вами. А кроме того, я пропустил важную деталь: француз поклялся ей в верности. Мисс Вудраф отправилась в Уэймут в полной уверенности, что ее ждут брачные узы.

– Разве он не католик?

Миссис Поултни видела себя таким невинным островом Патмос<sup>22</sup> в бурном океане папства.

– Боюсь, что его поведение доказывает отсутствие какой-либо христианской веры. Но он, надо думать, представлялся ей несчастным единоверцем в своей заблудшей стране. Вскоре после их встречи он отбыл во Францию, пообещав мисс Вудраф – после свидания с семьей и получения нового корабля (очередная ложь, что его сделают капитаном) – вернуться в Лайм, заключить брак и увезти ее с собой. С тех пор она его ждет. Совершенно ясно, что этот человек – бездушный обманщик. Я не сомневаюсь, что он рассчитывал надругаться над ней в Уэймуте. А когда ее строгие христианские принципы показали ему тщетность его намерений, он уплыл восвояси.

– А что стало с ней? Едва ли миссис Талбот взяла ее обратно.

---

<sup>22</sup> Согласно преданию, сюда был сослан апостол Иоанн Богослов и в одной из пещер имел откровение, легшее в основу книги Апокалипсиса.

– Миссис Талбот, дама эксцентричная, сделала ей такое предложение. Но тут я подхожу к печальному завершению этой истории. Мисс Вудраф не сумасшедшая. Даже близко. Она в состоянии выполнять любые поручения. Но она страдает острыми приступами меланхолии. Отчасти это, конечно, связано с угрызениями совести. Но также, боюсь, с ее устойчивым заблуждением, что лейтенант достойный человек и что однажды он к ней вернется. По этой причине ее часто можно видеть на берегу нашего залива. Мистер Фурси-Харрис постарался показать ей всю безнадежность, чтобы не сказать неуместность, такого поведения. Не хочется заострять на этом внимание, мадам, но женщина немного не в себе.

Повисло молчание. Викарий вверил себя языческому божку, то бишь отдался на волю случая. Он понимал, что миссис Поултни просчитывает варианты. При ее сомнении она обязана была изобразить состояние шока и тревоги по поводу самой идеи пустить в «дом Марлборо» такую особу. Но нельзя сбрасывать со счетов Божий промысел.

– У нее есть родственники?

– Нет, насколько мне известно.

– На что же она жила, с тех пор как...

– Как-то перебивалась. Занималась рукоделием. Кажется, миссис Трантер иногда ей что-то заказывала. Но в основном жила на прежние сбережения.

– Вот, значит, что ее спасло.

Викарий сделал глубокий вдох.

– Если вы, мадам, ее к себе возьмете, то тогда можно будет считать, что она спасена. – Он выложил свою козырную карту. – И, быть может, – хотя не мне судить, что мучает вашу совесть, – она, в свою очередь, спасет вас.

Миссис Поултни вдруг посетило ослепительное небесное видение: леди Коттон со своим праведным вывихнутым носом. Она, нахмурившись, уставилась на ковер с длинным ворсом.

– Пусть мистер Фурси-Харрис ко мне заглянет.

И через неделю он заглянул, вместе с местным викарием, пригубил мадеру и высказался – но при этом, по совету духовного коллеги, о чем-то умолчал. Миссис Талбот представила длиннущее рекомендательное письмо, принесшее больше вреда, чем пользы, поскольку оно вызывающим образом не осудило в полной мере поведение гувернантки. Одна фраза особенно возмутила миссис Поултни. «Месье Варгенн был человеком большого обаяния, а еще капитан Талбот просил вам сказать, что жизнь моряка – не лучшая школа высокой морали». Она безо всякого интереса отнеслась к тому, что мисс Сара «знающая и ответственная учительница», а также к словам «моим детям ее очень не хватает». Однако очевидная заниженность стандартов и глупая сентиментальность миссис Талбот в конечном счете сыграли Саре на пользу – миссис Поултни восприняла это как вызов.

Итак, Сара пришла на интервью в сопровождении викария. С первой минуты миссис Поултни в глубине души почувствовала к ней расположение: такая поникшая, отверженная в силу обстоятельств. Выглядела подозрительно на свой возраст – скорее двадцать пять, чем «тридцать или чуть больше». Печаль в глазах явственно указывала – грешница, а ни с кем другим миссис Поултни, собственно, и не желала иметь дело. Сдержанность девушки она интерпретировала как молчаливую благодарность. Больше всего, помня всех рассчитанных домочадцев, пожилая дама не выносила дерзости и рвения, что, как подсказывал ей опыт, приводило к двоякому результату: человек заговаривал первым и предвосхищал ее требования, что лишало ее удовольствия строго спросить с подчиненного, почему он их не угадывает.

По совету викария миссис Поултни продиктовала Саре письмо. Почерк великолепный, орфография безупречная. За этим последовал более хитрый тест. Она протянула девушке Библию и приказала прочитать. При выборе отрывка пришлось поломать голову; миссис Поултни разрывалась между Псалмом 118 («Блаженны непорочные») и Псалмом 139 («Избавь меня, Господи, от человека злого»). В конце концов она остановилась на первом, и при этом ее интересовала не только звучность голоса, но и малейшие признаки того, что девушка не принимает слова псалмопевца близко к сердцу.

Голос был твердым и довольно глубоким. В нем чувство-

вался деревенский акцент, но в то время дворянское произношение еще не стало важным социальным атрибутом. Да в Палате лордов какой-нибудь герцог мог сохранять провинциальный акцент, и это не роняло его в глазах окружающих. Возможно, Сарин голос понравился миссис Поултни по контрасту с обескураживающими спотыканиями миссис Фэйрли. Он ее даже очаровал, как и подача, с которой девушка прочла: «О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих!»

Затем последовал небольшой допрос.

– Мистер Форсайт сообщил мне, что вы сохраняете привязанность к иностранцу.

– Я не хочу об этом говорить, мэм.

Если бы другая служанка осмелилась сказать ей в лицо такое, на нее обрушился бы *Dies Irae*<sup>23</sup>. Но это было сказано открыто, бесстрашно и уважительно, и миссис Поултни – редчайший случай! – не воспользовалась прекрасным поводом поставить на место бесстыдницу.

– Я не позволю держать в моем доме французские книжки.

– У меня их нет. Как и английских, мэм.

Книг у нее не было, позволю себе добавить, так как ей пришлось все продать, и не потому, что она была предтечей одиозного Маклюэна<sup>24</sup>.

---

<sup>23</sup> День гнева (*лат.*). Зд. Страшный суд.

<sup>24</sup> Маршалл Маклюэн (1911–1980) – канадский философ и филолог, исследо-

– Но Библия-то у вас есть?

Девушка покачала головой. Викарий счел нужным вмешаться.

– Это, дорогая миссис Поултни, я возьму на себя.

– Я слышала, что вы постоянно посещаете богослужение.

– Да, мэм.

– Продолжайте. Господь утешает нас в беде.

– Я стараюсь разделять вашу веру, мэм.

И тогда миссис Поултни задала самый трудный вопрос, который викарий просил ее не задавать.

– Что будет, если этот... человек... вернется?

Но Сара вновь поступила наилучшим образом: ничего не ответила, просто покачала опущенной головой. А миссис Поултни, испытывавшая к девушке все большую симпатию, истолковала это как молчаливое раскаяние.

И она совершила благодеяние.

Она даже не подумала спросить Сару, которая отказалась пойти работать к не столь суровым христианам, как миссис Поултни, почему девушка выбрала именно ее дом. На это было два простых ответа. Во-первых, из «дома Марлборо» открывался великолепный вид на бухту Лайм. А второй был еще проще. У нее в кармане оставалось семь пенсов.

*Чрезвычайно возросшая производительная сила в отраслях крупной промышленности... дает возможность непроизводительно употреблять все увеличивающуюся часть рабочего класса и таким образом воспроизводить все большими массами старинных домашних рабов под названием «класса прислуги», как, например, слуг, горничных, лакеев и т. д.*

*Карл Маркс. Капитал (1867)*

Сэм раздвинул шторы, и утро затопило Чарльза, а в это время миссис Поултни, еще посапывавшая во сне, грезила о том, как ее затопит райское сияние после необходимой священной паузы, когда она отдаст Богу душу. Раз десять в году мягкий дорсетский климат выдает такие дни – не просто приятные, не по сезону, а с роскошным средиземноморским теплом и разливанным светом. И тогда Природа немного сходит с ума. Пауки, выйдя из зимней спячки, бегают по нагретым ноябрьским скалам, в декабре начинают петь дрозды, в январе расцветают примулы, а март изображает из себя июнь.

Чарльз сел в кровати, сорвал с головы ночной колпак, приказал Сэму распахнуть окна и, опираясь на отставленные назад руки, смотрел, как солнечный свет заливает комна-



ту. Легкое уныние, овладевшее им накануне, унеслось вместе с облаками. Он чувствовал, как теплый весенний воздух ласкает кожу там, где распахнулась ночная рубаша, и поднимается к открытому горлу. Сэм стоя правил бритву, и пар поднимался соблазнительными клубами, вызывая у Чарльза цепочку богатых воспоминаний в духе Пруста: счастливые деньки, прочные позиции, порядок, покой, цивилизация, – и все это льется из медного кувшина с водой. По уличной брусчатке мирно процокала лошадка в сторону моря. Порыв ветра всколыхнул уже далеко не новые красные атласные занавески. Но даже они казались красивыми в этом освещении. Все было лучше некуда. Это мгновение распространится на весь мир и на целую жизнь.

Раздался drobный стук маленьких копытцев вперемежку с беспокойным «мэ-э-э». Чарльз встал и подошел к окну. Два старика в гофрированных холщовых халатах вели о чем-то беседу. Один из них, пастух, опирался на посох. Дюжина овец и целое стадо ягнят нервно топтались посреди улицы. Подобные сельские персонажи выглядели живописно в 1867 году, хотя не были такой уж редкостью; в каждой деревне нашлось бы несколько таких вот старичков в халатах. Чарльз даже посетовал, что он не художник. В загородной жизни все-таки есть своя прелесть. Он повернулся к слуге.

– Клянусь тебе, Сэм, в такой день глаза бы мои не видели Лондона.

– Если еще п’стоите у открытого окна, сэр, то ’днозначно

не увидите.

Хозяин осадил его взглядом. За четыре года вместе они узнали друг друга лучше, чем иные партнеры по бизнесу.

– Сэм, ты опять наклюкался.

– Нет, сэр.

– Новая комната тебе больше нравится?

– Да, сэр.

– А удобства?

– А че, сэр, меня устраивают.

– *Quod est demonstrandum*<sup>25</sup>. В такое утро даже скупец запел бы от радости, а ты не в духе. *Ergo*<sup>26</sup>, ты пил.

Сэм проверил своим коротким большим пальцем опасно наточенную бритву с таким выражением, как будто он сейчас полоснет себя по горлу, – а может, и не себя, а своего ухмыляющегося хозяина.

– Эт 'на, кухарка миссис Трантер, сэр. Я не с'бираюсь...

– Будь добр, положи этот инструмент. И объясни, что ты там увидел.

– Эт 'на, стоит напротив. – Он ткнул пальцем в окно. – И раз'рется!

– Да? А поконкретнее?

Сэм все больше закипал.

– «Гоните сажу!»... сэр, – закончил он угрюмо.

Чарльз улыбнулся.

---

<sup>25</sup> Что и требовалось доказать (лат.).

<sup>26</sup> Следовательно (лат.).

– Я ее знаю. В сером платье? Такая дурнушка.

Вообще-то она этого не заслуживала. Не перед ней ли, хорошенькой и молоденькой, он с готовностью приподнял цилиндр накануне?

– Какая ж она дурнушка. Очень даже ничего.

– Ага. Значит, Купидон несправедлив к кокни.

Сэм бросил в его сторону негодующий взгляд.

– Да я к ней не п’дойду на пушечный выстрел! Коровница, блин!

– Я так понимаю, Сэм, что ты ее сравнил с блинчиком. Не зря ты мне клялся и не раз, что родился в пивной.

– П’соседству, сэр.

– Очень близкое соседство, я бы сказал. Мог бы и не употреблять этих слов в такое утро.

– А че она разоряется на всю улицу?

Так как «вся улица» сводилась к двум старикам, из которых один был к тому же глухой, Чарльз соблаговолил улыбнуться и жестом показал, чтобы Сэм налил ему горячей воды.

– Принеси-ка мне завтрак, дружище. Я сам побреюсь. Кексов двойную порцию.

– Да, сэр.

Сэм не успел дойти до двери, как в спину ему нацелилась кисточка для бритья.

– Местные девицы слишком робкие, чтобы хамить столичным джентльменам... ну разве что их сильно разозлить.

Сэм, я подозреваю, что ты все-таки приложился.

У слуги отвисла челюсть.

– А если ты не приложишь усилий насчет моего завтрака, то я приложу ботинок к твоей недостойной лучшего филейной части.

Дверь за ним закрылась, и не то чтобы очень вежливо. Чарльз подмигнул себе в зеркале. А потом вдруг добавил своему лицу еще десяток лет: такой серьезный, хотя еще молодой, отец семейства... снисходительно улыбнулся этим гримасам и общей эйфории – и замер, очарованный собственными чертами лица. Они были в самом деле очень правильными: широкий лоб, усы черные, как и волосы, взъерошенные после сдернутого ночного колпака, отчего он казался еще моложе. Кожа в меру бледная, хотя и недотягивала до бледности многих лондонских джентльменов, а не надо забывать, что в ту пору загар не считался желаемым символом социального и сексуального статуса, скорее наоборот, указывал на принадлежность к низшим классам. Если присмотреться, то в данную минуту лицо выглядело несколько глупым. Его снова накрыла легкая волна вчерашней хандры. Слишком невинное лицо, если с него снять показную маску; особенно нечем похвастаться. Разве что дорическим носом и холодными серыми глазами. Воспитание и самопознание – что есть, то есть.

Он стал замазывать это двусмысленное лицо кремом для бритья.

Сэм был моложе его лет на десять. Слишком юный для хорошего слуги и к тому же рассеянный, самодовольный, тщеславный, высокого мнения о своих умственных способностях. Любитель повалять дурака, он прохаживался с соломинкой или веточкой петрушки в уголке рта; хозяин сверху пытался до него докричаться, а он в это время изображал из себя лошадника или ловил воробья с помощью сита.

Естественно, для нас любой слуга-кокни по имени Сэм сразу вызывает в памяти бессмертного Уэллера<sup>27</sup>, и этот Сэм явился на свет явно с его подсказки. С тех пор как «Пиквикские записки» заблистали в этом мире, прошло уже тридцать лет. Любовь Сэма к парнокопытным не была такой уж глубокой. Его скорее можно сравнить с нынешним работягой, который считает, что способность разбираться в автомобилях свидетельствует о его социальной продвинутости. Он даже знал про Сэма Уэллера, правда не из книги, а из сценической версии, как знал и то, что с тех пор многое изменилось. Его поколение кокни было выше всего этого, и если он частенько заглядывал в конюшню, то исключительно для того, чтобы продемонстрировать свое превосходство провинциальным конюхам и мальчишкам на побегушках.

Середина века столкнулась с новыми денди на английской сцене – аристократами прежнего образца, бледнолицы-

---

<sup>27</sup> Сэм Уэллер – слуга мистера Пиквика, главного героя романа Чарльза Дикенса «Посмертные записки Пиквикского клуба».

ми наследниками «красавчиков Браммела»<sup>28</sup>, также известными как «шишки». Но в умении одеваться с ними вступили в состязание новоявленные преуспевающие ремесленники и пробившиеся наверх слуги вроде Сэма. «Шишки» называли их «снобами», и Сэм был отличным примером такого сноба, в узком смысле этого слова. Он обладал обостренным чувством стиля одежды, не хуже, чем «моды» 1960-х, и тратил большую часть заработанных денег на модные тряпки. А еще он демонстрировал свою принадлежность к новому классу, добиваясь правильной речи.

В 1870 году пресловутая неспособность Сэма Уэллера произносить «v» вместо «w», что на протяжении веков выделяло лондонского простолюдина, вызывала одинаковое презрение как у снобов, так и у буржуазных романистов, которые по привычке и без должных оснований еще какое-то время вставляли этот изъян в речь своих персонажей кокни. Если говорить о снобах, то они больше воевали против придыхательного согласного звука; в случае с Сэмом эта борьба была особенно отчаянной и в основном безнадежной. А его неправильное употребление всех этих «a» и «h» было не столько комичным, сколько знаком социальной революции, что Чарльз просто не осознавал.

Возможно, это происходило потому, что Сэм давал ему нечто очень важное в его жизни – ежедневную возможность

---

<sup>28</sup> Щеголи, по имени Джорджа Браммела, лондонского модельера первой половины XIX века.

поболтать, вспомнить о своем школьном прошлом, а в процессе, так сказать, экскретировать характерное и довольно жалкое пристрастие к каламбурам и намекам, этой разновидности юмора, базирующейся с какой-то отталкивающей изысканностью на образовательном превосходстве. Но при том что позиция Чарльза выглядела как дополнительное оскорбление и без того вызывающей эксплуатации, справедливости ради отметим, что его отношение к Сэму отличалось приязненностью, между ними существовала человеческая связь, и это было куда лучше ледяного барьера, который нувориши в век повального обогащения воздвигали между собой и своей домашней челядью.

Понятно, что за спиной у Чарльза было не одно поколение держателей прислуги; что же касается нуворишей, то многие из них были детьми лакеев. Если он не мог себе представить мир без слуг, то эти люди могли, что делало их особенно придирчивыми. Они старались превратить своих слуг в автоматы, тогда как для Чарльза слуга был одновременно компаньон, его Санчо Панса, персонаж низкой комедии, дополняющий его высокие чувства перед Эрнестиной-Дульсиной. Иными словами, он держал Сэма, потому что тот его забавлял, а не потому, что под рукой не было «автоматов» получше.

Разница же между Сэмом Уэллером и Сэмом Фарроу (то есть между 1836-м и 1867-м) заключалась в следующем: первый был доволен своей ролью, а второй от нее страдал. Сэм

Уэллер на такое требование сажи дал бы словесную отповедь. Сэм Фарроу остолбенел, вздернул брови и удалился.



*Где лес — морская гладь была.  
Земля, как твой изменчив вид!  
Где площадь людная шумит,  
Там гордо высилась скала.*

*Холмы теньями убегают.  
Ничто не устоит в веках.  
Провалов много в облаках —  
Материки не так же ль тают?*

**Альфред Теннисон. In Memoriam**

*Если же вы хотите жить в праздности и чтобы  
вас при этом уважали, то лучше всего сделать вид,  
что вы заняты серьезным исследованием...  
Лесли Стивен. Кембриджские заметки (1865)*

Не только Сэм был мрачен в то утро. Эрнестина проснулась с таким настроением, которое многообещающий яркий день лишь усугубил. Ее нездоровье было в порядке вещей, но важно оградить от этого Чарльза. Поэтому, когда он в десять утра, как штык, поднялся на крыльцо, его встретила тетушка Трантер словами, что Эрнестина неважно провела ночь и нуждается в отдыхе. Может, он заглянет на фэйф-о-клок? К тому времени она наверняка придет в себя.

Его заботливые предложения вызвать врача были вежли-

во отклонены, и он ушел. Приказав Сэму купить побольше цветов и отнести их в дом очаровательной больной, с разрешением и даже советом вручить цветочек-другой от себя молодой особе, недолгобливающей сажу, за что ему предоставляется свободный день (не все викторианские хозяева были ярыми сторонниками коммунизма), Чарльз оказался предоставлен самому себе.

С выбором дело обстояло просто. Само собой, он был готов сопровождать Эрнестину куда ей заблагорассудится, но надо признать, что поскольку речь шла о Лайм-Риджисе, то он с особым удовольствием выполнял свои предсвадебные обязанности. Стоунбэрроу, Блэк Вен, Уэйрские утесы – эти названия вам, вероятно, ни о чем не говорят. Но дело в том, что Лайм находится в самом центре отложений редкого камня, известного как голубой леас. Обычному праздному гуляке он не покажется интересным. Угрюмого серого цвета, по текстуре застывшая грязь, он скорее отвращает, чем радует глаз. А еще он губителен – слои хрупки, склонны к обвалу, так что не случайно за всю историю человечества эта двенадцатимильная полоса голубого леаса отдала морю больше суши, чем другие уголки Англии. Зато богатая ископаемыми и подвижная порода стала Меккой для британского палеонтолога. За последние сто лет, если не больше, самым распространенным животным на этом побережье стал человек, орудующий молотком геолога.

Чарльз уже побывал, пожалуй, в наиболее известной мест-

ной лавке тех дней – «Допотопные окаменелости», открытой несравненной Мэри Эннинг, женщиной без систематического образования, но обладавшей природным гением обнаруживать великолепные – и во многих случаях до толе неизвестные – экземпляры. Она первая нашла кости *Ichthyosaurus platyodon*<sup>29</sup>, и, хотя многие ученые того времени с благодарностью использовали ее открытие для продвижения собственной репутации, одной из самых позорных страниц британской палеонтологии остается то, что ни один вид этого ископаемого животного не носит ее имя. Чарльз отдал дань памяти этому выдающемуся местному открытию – а также свою наличность на приобретение различных аммонитов<sup>30</sup> и *Isocrina*<sup>31</sup>, которые украшали рабочие шкафы в его лондонском кабинете. Но его постигло одно разочарование: он тогда специализировался на особи, которая была плохо представлена в лавке допотопных окаменелостей.

Речь об *echinoderm*'е, или окаменелых морских ежах. Иногда мы их называем «тестами» (от латинского *testa*, керамический или глиняный горшок), а американцы – песочными долларами. Тесты отличаются формой, но при этом все идеально симметричны, а объединяет их узор из изящных шипованных полосок. Помимо научной ценности (серия образцов с мыса Бичи Хед, взятая в начале 1860-х, стала одним

---

<sup>29</sup> Ихтиозавр плоскозубый (лат.).

<sup>30</sup> Вымершие беспозвоночные животные класса головоногих моллюсков.

<sup>31</sup> Группа морских лилий (лат.).

из первых практических подтверждений теории эволюции), они хороши сами по себе, а дополнительное очарование им придает тот факт, что их довольно трудно обнаружить. Вы можете потратить впустую несколько дней, а если вам посчастливится в одно прекрасное утро найти два-три экземпляра, это запомнится надолго. Возможно, подсознательно это и привлекало Чарльза, палеонтолога-любителя, располагавшего свободным временем. Им, конечно, двигали научные интересы, и вместе с такими же коллегами-любителями он возмущался тем, что морских ежей «незаслуженно игнорируют», – удобное оправдание для многочисленных часов, потраченных на такое узкое направление. Но какими бы ни были его мотивы, он отдал тестам свою душу.

Сегодня тест извлекают не из голубого леаса, а из верхних кремниевых слоев, и хозяин лавки окаменелостей посоветовал Чарльзу делать раскопки на западной окраине города, а не на самом берегу. И вот, спустя полчаса после визита к тетушке Трантер, он уже снова был на мысе Кобб.

В этот день большой мол совсем не выглядел пустынным. Рыбаки смолили лодки, чинили сети, лудили оловянные ведерки для крабов и лобстеров. Состоятельные люди из местных, ранние посетители, прогуливались вдоль волнующегося, но уже куда более спокойного моря. Одинокой женщины, вглядывающейся в горизонт, он не заметил. Впрочем, ему было не до нее и не до Кобба; быстрым пружинистым шагом, столь отличным от его обычной вальяжной городской

походки, он направился вдоль пляжа под Уйэрскими утесами к месту назначения.

Вы бы улыбнулись, увидев его экипировку. Тяжелые кованные ботинки и полотняные гетры поверх норфолкских бриджей из плотной фланели. К этому прилагались узкий и до абсурдного длинный сюртук, широкополая фетровая шляпа неопределенного бежеватого цвета, громоздкий аппарат золотудаления, купленный им по дороге к Коббу, и объемистый рюкзак, из которого при желании можно было вытряхнуть тяжелую коллекцию молотков, намоток, записных книжек, коробочек для пилюль, тесел и бог знает чего еще. Педантизм викторианцев не укладывается у нас в голове. Лучше всего (и нелепее) он предстает в советах, щедро раздаваемых путешественникам в ранних изданиях Бедекера. А что, простите, остается им для удовольствия? Если же вернуться к Чарльзу, то неужели он не понимал, что легкая одежда была бы куда удобнее? Что шляпа ему не нужна? Что тяжелые кованные ботинки на пляже, усеянном камнями, так же полезны, как коньки?

Мы смеемся. Но, вероятно, есть нечто достойное восхищения в несовместимости того, что по-настоящему комфортно, и того, что нам настоятельно рекомендуют. Мы снова видим это яблоко раздора между двумя столетиями: должны ли мы руководствоваться долгом<sup>32</sup> или нет? Если

---

<sup>32</sup> Здесь, в качестве напоминания о том, что средневикторианские (в отличие от современных) агностицизм и атеизм были строго связаны с религиозной догмой,

расценивать этот пункт по поводу одежды на все случаи жизни как обычную глупость и игнорирование эмпирического познания, то мы совершим серьезную – или скорее легкомысленную – ошибку в отношении наших предков; именно люди вроде Чарльза, избыточно одетые и перегруженные, заложили основы современной науки. Их чудаковатые поступки были проявлением их серьезности в куда более важной составляющей. У них было ощущение, что общественные оценки неадекватны, что их окна реальности замазаны условностями, религиозной догмой, социальной стагнацией; короче, они понимали, что без новых открытий не обойтись, они будут определять будущее человека. Нам-то кажется (если, конечно, мы не работаем в исследовательской лаборатории), что никакие открытия нам не нужны и важно только одно: настоящее человека. Вот и славно? Возможно. Только судьями в конечном счете быть не нам.

Так что я не склонен потешаться над тем, что Чарльз, работая молотком и пытаясь в энный раз пробить между валунами выемку пошире, поскользнулся и шлепнулся на спину. Его это, кстати, не обескуражило – прекрасный день, леасовые окаменелости в избытке, и он совершенно один.

Море сверкает, покрикивают кроншнепы. Впереди него, словно оповещая всех о его приближении, летела стая соро-

---

мне следует процитировать знаменитую эпиграмму Джордж Элиот: «Бог непознаваем, бессмертие неправдоподобно, зато долг безоговорочен и абсолютен». И он еще более безоговорочен, можно добавить, при пугающе двойственном отсутствии веры. (*Примеч. автора.*)

чаев, черных, белых и кораллово-красных. При виде соблазнительных заводов в мозгу пронеслись еретические мысли: может, было бы веселее... стоп, стоп, полезнее с точки зрения науки... заняться морской биологией? Уехать из Лондона, поселиться в Лайме... нет, Эрнестина никогда этого не допустит. А потом, приятно отметить, случилось нечто по-человечески подкупающее: Чарльз поозирался и, убедившись в том, что его никто не видит, аккуратно снял тяжелые ботинки, гетры и чулки. Он повел себя как школьник и даже попытался вспомнить строчку из Гомера, что придало бы моменту классический оттенок, но тут он отвлекся, так как надо было поймать бегущего бдительного крабика, которого накрыла гигантская тень.

Возможно, вы презираете Чарльза за этот громоздкий аппарат золотудаления не меньше, чем за его неспособность определиться со специализацией. Но вы должны при этом помнить, что естествознание в то время не носило того уничижительного оттенка, как в наши дни, когда оно воспринимается как бегство от реальности – и зачастую в сантименты. Чарльз, если на то пошло, был довольно компетентным орнитологом и ботаником. Вероятно, было бы лучше, если бы он закрыл глаза на все, кроме ископаемых морских ежей, или посвятил свою жизнь водорослям, если уж мы заговорили о научном прогрессе. Но подумайте о Дарвине, о «Путешествии вокруг света на корабле «Бигль». «Происхождение видов» – это триумф обобщений, а не специализации, и

даже если вы мне докажете, что для Чарльза, неодаренного ученого, второе было бы предпочтительнее, я все равно буду настаивать, что первое лучше для него как для человека. Дело не в том, что любители могут себе позволить заниматься чем угодно; они *должны* заниматься чем угодно, и к черту ученых резонеров, которые их загоняют в *oubliette*<sup>33</sup>.

Чарльз называл себя дарвинистом, хотя толком дарвинизм не понимал. А разве Дарвин себя понимал? Этот гений перевернул *Scala Naturae*, «лестницу природы» Линнея, чьим главным постулатом, столь же важным, как божественность Христа для теологии, было *nulla species nova*: для новых видов мир закрыт. Этот принцип объясняет, почему Линней был так одержим классифицированием и присваиванием имен, – он все живое превращал в окаменелость. Сегодня это воспринимается как заведомо обреченные попытки стабилизировать и зафиксировать все, что в действительности находится в непрерывном движении, и нет ничего удивительного в том, что Линней под конец сошел с ума: он оказался в лабиринте, но не в том, который вечно обновляется. Даже Дарвин сбросил с себя не все шведские оковы, так вправе ли мы обвинять Чарльза за мысли, когда он, задррав голову, разглядывал слои леаса на скалах?

Зная, что *nulla species nova* – полная чушь, тем не менее он видел в этих геологических слоях обнадеживающий знак упорядоченного существования. Возможно, издалека про-

---

<sup>33</sup> Узилище (фр.).



смаатривался социальный символизм в том, как крошились серо-голубые уступы; по сути же он видел, как возносится время, в котором непреложные законы (и, следовательно, благодатные в своей божественности, ибо кто будет спорить с тем, что порядок не есть высшая человеческая ценность?) весьма удобно сочетаются с выживанием самых лучших и наиболее приспособляемых – *exemplia gratia*<sup>34</sup> Чарльз Смитсон, в прекрасный весенний день, наедине с природой, энергичный и пытливый, понимающий и принимающий, наблюдательный и благодарный. Не хватало только вывода о крушении «лестницы природы»: если новые виды *могут* появляться, то старые нередко должны уступать им дорогу. Вымирание индивида для Чарльза, как и для любого викторианца, не составляло секрета. А вот общее вымирание... этой концепции в его сознании не было, как не было ни одного облачка у него над головой, хотя вскоре, после того как он снова натянул на себя чулки, гетры и ботинки, он держал в руках очень конкретное тому подтверждение.

Это был замечательный кусок леаса с аммонитовыми вкраплениями, изысканно светлый, микрокосм макрокосма, крученной галактики, которая прошла своим колесом по десятидюймовой породе. Должным образом надписав ярлык – дата, место обнаружения, – он мысленно перескочил с научной темы на любовную. Он решил, что подарит этот камень Эрнестине. Такая красота не может ей не понравиться, к то-

---

<sup>34</sup> Например (лат.).

му же очень скоро камень к нему вернется вместе с ней. А дополнительный груз за спиной лишь придавал веса его подарку. Долг, в приятном соответствии с течением эпохи, горделиво вострепнулся.

Как вострепнулось и его внимание: кажется, он замешкался. Чарльз расстегнул сюртук и достал серебряный брегет с отверстием в крышке. Уже два часа! Он резко развернулся и увидел, что волны уже перекатывают через мыс в миле от него. Опасность быть отрезанным от суши ему не грозила, так как вверх, на утес, и дальше, к густому лесу, уходила крутая, но безопасная тропа. А вот вернуться по берегу он уже не мог. Ничего, бодрым шагом в горку, где просматриваются кремневые образования. В наказание за свою мешкотность он взял слишком быстрый темп, и пришлось на минутку присесть, чтобы отдышаться. Под чертовой фланелью обильно струился пот. Тут он услышал рядом журчание ручья и утолил жажду, а потом намочил носовой платок и протер лицо. Он стал озираться вокруг.

*Узреть я в сердце том не мог  
 Любви несдержанной и знойной;  
 Но был в нем светлячок-дичок,  
 Неприрученный, беспокойный.*

*Мэтью Арнольд. Прощание (1853)*

Я привел две самые очевидные причины, почему Сара Вудраф пришла наниматься на работу к миссис Поултни. Но вообще-то она не привыкла разбираться в причинах, даже на инстинктивном уровне, и на самом деле их могло быть больше, и наверняка было, поскольку ей ли не знать о репутации этой особы в не столь просвещенных *milieux*<sup>35</sup> города Лайма. Поколебавшись один день, она пошла за советом к миссис Талбот, даме с добрым сердцем, но не особо проницательной. Хотя она была не прочь снова взять в дом Сару и даже твердо пообещала ей это сделать, но понимала, что девушка в данный момент не способна уделять должное внимание исполнению обязанностей гувернантки. Однако при этом горела желанием ей помочь.

Она знала, что Саре грозит нужда, и по ночам, лежа без сна, рисовала себе картины из романтической литературы

---

<sup>35</sup> Круги (фр.).

своей юности: сцены с истощенными от голода героинями, которые падают на заснеженные ступеньки незнакомого дома или мучаются от лихорадки на голом протекающем чердаке. Но один образ – непосредственная иллюстрация к поучительному рассказу миссис Шервуд<sup>36</sup> – воплощал ее худшие страхи: убегая от преследования женщина прыгает со скалы. Вспышка молнии высвечивает буйные головы ее преследователей. Но страшнее всего этот душераздирающий ужас на бледном лице обреченной жертвы и взметнувшийся к небу ее черный просторный балахон – крыло падающей, обреченной на смерть вороны.

В общем, миссис Талбот умолчала о своих сомнениях по поводу миссис Поултни и посоветовала Саре поступить к ней на службу. Бывшая гувернантка на прощание расцеловала маленького Пола и Вирджинию и пешком вернулась в Лайм, как приговоренная. Вердикт миссис Талбот ею под сомнение не ставился – так и должна поступать умная женщина, доверяющая женщине глупой, пусть и с добрым сердцем.

Сара была умна, но по-своему; это был не тот ум, который обнаруживают современные тесты. Не аналитический, не направленный на решение проблем, поэтому симптоматично, что ей никак не давался один предмет – математика. Отсутствовали и такие проявления, как живость ума или остроумие, даже когда все у нее было отлично. Речь больше идет о

---

<sup>36</sup> Мэри Марта Шервуд (1775–1851) – популярная английская детская писательница, автор более четырехсот книг.

невероятной – для человека, никогда не бывавшего в Лондоне, не выходившего в свет – способности оценивать других людей, понимать их в самом глубоком значении этого слова.

Она была своего рода психологическим эквивалентом опытного барышника с его способностью навскидку отличить хорошую лошадь от плохой; или, если перенестись в наше время, с самого рождения у нее было не сердце, а компьютер. Я говорю «сердце», поскольку ценности, которые она просчитывала, относились скорее к нему, чем к голове. Она сразу улавливала претенциозность пустого аргумента, ученую фальшь, пристрастную логику, но были и более тонкие заходы в человеческую душу. Не умея это объяснить, сродни компьютеру, не способному объяснить, как он работает, она видела людей такими, какие они есть, а не какими хотят казаться. Сказать, что она была хорошим моральным судьей, недостаточно. Ее проницательность выглядела куда шире, и если бы все сводилось только к морали, она бы не вела себя подобным образом; простой пример: она не поселилась бы в Уэймуте с кузиной.

Эта инстинктивная глубина прозрения стала первым ее проклятием, а вторым – образованность. Нельзя сказать, что ее образование отличалось особой глубиной, типичное для третьеразрядной женской семинарии в Эксетере, где днем она училась, а вечерами – иногда за полночь – оплачивала учебу, выполняя всякий ручной труд, например штопку. С другими ученицами отношения у нее не складывались. Они

смотрели на нее сверху вниз, а она — сквозь них, наверх. В результате она прочла гораздо больше беллетристики и поэзии, чем ее сверстницы. Книжки замещали ей жизненный опыт. Она неосознанно судила людей не только эмпирически, но и по стандартам Вальтера Скотта и Джейн Остин, видя в окружающих литературных персонажей и давая им поэтическую оценку. Но, увы, то, чему она себя обучила, в значительной степени перечеркивалось тем, чему ее учили. Приобретя лоск настоящей дамы, она сделалась идеальной жертвой кастового общества. Родной отец изгнал ее из низшего общества, но не сумел поднять до высшего. Для молодых людей покинутого ею класса она была слишком рафинированной, чтобы на ней жениться; а для тех, к кому тянулась, она оставалась слишком простецкой.

Ее отец, которого викарий Лайма описывал как «человека высоких принципов», на самом деле был полной противоположностью, средоточием худших качеств. Свою единственную дочь он послал в школу-пансион, движимый не заботой, а помешанностью на предках. Четыре поколения назад, по отцовской линии, в его роду прослеживались настоящие дворяне. Там даже была какая-то отдаленная родственная связь с семейством Дрейка, и с годами этот несущественный факт перерос в твердое убеждение, что он прямой потомок сэра Фрэнсиса. Его предок определенно когда-то владел поместьем в ничейной зеленой полосе между Дартмуром и Эксмуром. Сарин папаша три раза ездил, чтобы убедиться

в этом своими глазами, и каждый раз возвращался на свою маленькую ферму, арендованную в обширных угодьях Меритона, чтобы предаваться размышлениям, что-то планировать и о чем-то мечтать.

Наверное, он испытал разочарование, когда его дочь, вернувшись домой из школы-пансиона в восемнадцать лет (кто знает, на какой чудесный дождь, который на него прольется, он рассчитывал), сидела напротив, за столом из вяза, и слушала его хвастливые речи, поглядывая на отца с тихой сдержанностью, что его только распаляло еще больше, распаляло, как совершенно бесполезное механическое устройство (ведь он родился в Девоне, где деньги для мужчины значат все), и распалило до того, что он в конце концов свихнулся. Он отказался от аренды и купил собственную ферму, но уж очень дешевую, и отличная, на первый взгляд, сделка оказалась совершенно провальной. Несколько лет он бился, пытаясь справиться с закладной и сохранить нелепый аристократический фасад, пока окончательно не свихнулся и не был отправлен в дорчерстерский приют для умалишенных. Там он и умер год спустя. К тому времени Сара уже сама зарабатывала на жизнь – сначала в семье в том же Дорчерстере, поближе к отцу, а после его смерти заняла место гувернантки у Талботов.

Она была слишком хороша собой, чтобы не иметь кавалеров, невзирая на отсутствие приданого. Но при этом всегда включался ее инстинкт, он же проклятие – своих самоуве-

ренных претендентов она видела насквозь: их низкие помыслы, их снисходительность, их подаяния, их глупости. И таким образом неизбежно приговаривала себя к участи, которой должна была избежать, следуя велению природы на протяжении миллионов лет: старая дева.

Представим себе невозможное: миссис Поултни составляла список плюсов и минусов новой гувернантки, как раз когда Чарльз совершал свои высоконучные эскапады, отвлекаясь от обременительных обязанностей жениха. В принципе это не так уж невероятно, если учесть, что в то утро мисс Сары не было дома.

А чтобы себя порадовать, начнем с плюсов. Самый первый, вне всякого сомнения, был менее всего ожидаем в момент ее поступления на службу годом раньше. Хозяйка могла записать это так: «Улучшилась домашняя атмосфера». Поразительно, но факт: до появления Сары ни один слуга и ни одна служанка (статистически это больше относилось к последним) не ушли из этого дома по собственному желанию.

Удивительная трансформация началась однажды утром, всего через несколько недель после того, как мисс Сара принялась за дело, а именно взяла опеку над душой миссис Поултни. Пожилая дама с привычным для нее чутьем обнаружила непростительное служебное несоответствие: служанка, работающая на верхнем этаже, в чьи обязанности входило



каждый вторник поливать папоротники в малой гостиной – один хозяйка держала у себя, а второй был для гостей, – этого не сделала. Папоротники смотрели по-зеленому снисходительно, в отличие от побелевшей миссис Поултни. Она вызвала к себе виновницу, которая покаялась в забывчивости. Хозяйка могла бы великодушно ее простить, однако за девушкой уже числились два или три других прегрешения. Пришло время похоронного колокола. И миссис Поултни с суровостью ретивого бульдога, готового вонзить зубы в лодыжки грабителя, ударила в колокол.

– Я многое готова вытерпеть, но только не это.

– Больше я такого не допущу, мэм.

– В моем доме точно уже не допустишь.

– О мэм. Прошу вас, мэм.

Миссис Поултни позволила себе несколько мгновений открыто и проникновенно понаслаждаться слезами жертвы.

– Миссис Фэйрли даст вам расчет.

Мисс Сара присутствовала при этом разговоре, поскольку перед этим хозяйка диктовала ей письма епископам... по крайней мере, в такой тональности обращаются к епископам. И тут она задала вопрос; эффект был примечательным. Начать с того, что она впервые задала вопрос, никак не связанный с ее служебными обязанностями. Во-вторых, он подспудно ставил под сомнение обвинительный приговор старой дамы. В-третьих, он был обращен не к хозяйке, а к девушке.

– Милли, вам плохо?

То ли на девушку подействовал участливый голос, то ли сказалось ее состояние, но она упала на колени и, отрицательно мотая головой, закрыла лицо руками, чем несколько обескуражила миссис Поултни. Мисс Сара поспешила присесть рядом и быстро убедилась, что девушка в самом деле нездорова: за прошедшую неделю она дважды падала в обморок, в чем побоялась кому-либо признаться...

Когда через некоторое время мисс Сара вернулась из комнаты прислуги, где она уложила Милли в постель, хозяйка, в свою очередь, задала ей ошеломляющий вопрос:

– И что же мне делать?

Мисс Сара заглянула ей в глаза и увидела в них то, что сделало последующие слова не более чем уступкой принятым условностям.

– Вам виднее, мэм.

Вот так редкий цветок – прощение – осторожно пустил корешок в «доме Марлборо». А когда врач осмотрел служанку и поставил ей диагноз «бледная немочь», миссис Поултни испытала извращенное удовольствие, оттого что проявила доброту. Позже случились еще инциденты, пусть не такие драматические, которые закончились подобным образом; всего один или два, поскольку Сара взяла на себя труд во всем разбираться самой, не доводя дело до кризиса. Разгадав хозяйку, она быстро научилась дергать ее за ниточки, как ловкий кардинал слабого папу, пусть и в более благород-

ных целях.

Вторым, более ожидаемым пунктом в гипотетическом списке миссис Поултни был бы такой: «Ее голос». Если в житейских делах хозяйка дома явно недодавала своим слугам, то об их духовном здоровье она заботилась в полной мере. По воскресеньям им вменялось в обязанность дважды посещать церковь, и каждое утро дома проходила утренняя служба с псалмами, проповедями и молитвами под напыщенным присмотром старой дамы. Но вот ведь досада, даже ее самые суровые взгляды не приводили слуг в состояние абсолютной покорности и раскаяния, чего, по ее мнению, от них требовал Господь (не говоря уже о ней). Их лица скорее выражали страх перед ней и тупое непонимание, что делало их больше похожими на смешавшихся овец, чем на покаявшихся грешников. И все это изменила Сара.

Голос у нее был необыкновенно красивый, сдержанный и чистый, при этом отмеченный печалью и сильным внутренним чувством; но главное – искренний. И миссис Поултни, жившая в своем неблагоприятном мирке, впервые увидела в лицах слуг неподдельное внимание, а временами даже одухотворенность.

Уже хорошо, но предстояло сделать еще шаг. Прислуге разрешалось произносить вечерние молитвы на кухне под равнодушным присмотром миссис Фэйрли, читавшей их деревянным голосом. А вот хозяйке наверху все читалось наедине, и именно в эти интимные минуты Сарин голос бы-

вал наиболее впечатляющим и действенным. Пару раз она совершила невероятное – выжала из этих неукротимых, отороченных мешками глаз слезу. За этим непреднамеренным эффектом скрывалась кардинальная разница между двумя женщинами. Миссис Поултни верила в несуществующего Бога, а Сара знала Бога, который существовал.

Она подсознательно не стремилась, как это делают достойные священники и сановники, когда их просят обратиться с речью, придать голосу эффект отстранения в стиле Брехта («Это сам мэр зачитывает вам пассаж из Библии»); наоборот, прямо говорила о страданиях Христа, рожденного в Назарете, как будто не прошло столетий, и в полутемной комнате она, казалось, забывала о присутствии миссис Поултни и видела перед собой распятого. Как-то раз, дойдя до слов «*Lama, lama, sabachthane me*»<sup>37</sup>, Сара вдруг замолчала. Миссис Поултни перевела на нее взгляд и поняла, что по лицу девушки текут слезы. Этот миг искупал все будущие трудности, а если еще учесть, что старая дама, привстав, тронула служанку за поникшее плечо, то это однажды спасет ее очерстневшую душу.

Я рискую изобразить Сару лицемеркой. Но она была очень далека от теологии и видела насквозь не только людей, но и викторианскую церковь с ее благоглупостями, вульгарными витражами и узостью буквального восприятия реаль-

---

<sup>37</sup> Боже Мой! Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил? (древнеевр.) (Марк, 15: 34).

ности. Она видела страдания и молилась, чтобы они прекратились. Я не могу сказать, что она могла бы жить в наше время; а в ранние века, я думаю, она могла бы стать святой или наложницей императора. Не в силу своей религиозности в первом случае и не из-за своей сексуальности во втором, а благодаря концентрации редкой силы, составлявшей ее суть, – понимания и эмоциональной отзывчивости.

Были и другие достоинства: впечатляющая и, можно сказать, уникальная способность практически не раздражать хозяйку, тихое исполнение разных домашних обязанностей без посягательства на чужие права, искусное рукоделие.

На день рождения миссис Поултни она подарила ей большую салфетку с изящно расшитой каймой в виде папоротников и ландышей – не потому что стулья, на которых та сидела, нуждались в защите, просто в то время стул без такого приданого производил впечатление голого. Миссис Поултни была покорена. С тех пор эта салфетка – все-таки в Саре, вероятно, было нечто от ловкого кардинала – постоянно с какой-то хитрецей напоминала великанше-людоедке, когда та садилась на свой трон, о том, что грехи ее протеже заслуживают прощения. По-своему этот подарок сослужил для Сары такую же службу, какую бессмертная дрофа некогда сослужила для Чарльза.

И, наконец, Сара прошла тест на церковные песнопения – самое суровое испытание для жертвы. Как многие викторианские вдовы, ведущие изолированный образ жизни, миссис

Поултни очень верила в их силу. Неважно, что ни один из десяти получателей этих текстов не мог их прочесть – если на то пошло, многие вообще были неграмотные, – а кто мог, все равно не понял бы, о чем пишут преподобные отцы... но всякий раз, когда Сара отправлялась с пачкой листков, чтобы вручить их адресатам, миссис Поултни мысленно видела такое же количество спасенных душ, записанных на ее счет в раю. А еще она видела, как женщина французского лейтенанта совершает публичное покаяние – этакая вишенка на торте. То же самое наблюдали и жители Лайма из тех, что победнее, причем они относились к девушке терпимее, чем это себе представляла ее хозяйка.

Сара заготовила короткую формулу: «От миссис Поултни. Прошу вас прочесть и запечатлеть в своем сердце». Произнося эти слова, она смотрела людям в глаза. Те, что обычно ухмылялись со знанием дела, довольно скоро спрятали свои ухмылочки; а у тех, которые привыкли не лезть за словом в карман, слова застревали во рту. Кажется, они больше прочитывали в этих глазах, чем в полученных ими листочках, исписанных убористым почерком.

Но пора перейти к минусам воображаемого списка. Первый и главный пункт, несомненно, был бы: «Она гуляет одна». С самого начала мисс Сара по уговору получила свободного времени полдня в неделю, что в глазах миссис Поултни было весьма щедрым признанием ее особого статуса

по сравнению с обычными служанками, а позже это закрепилось необходимостью распространения церковных листов, о чем ее попросил викарий. Два месяца все было хорошо. Но однажды утром мисс Сара не пришла на домашнюю утреннюю службу. За ней послали служанку, и выяснилось, что она до сих пор в постели. Миссис Поултни сама пошла к ней. Она застала Сару в слезах, но сейчас у нее это вызвало только раздражение. За доктором она все же послала. Он пробыл у больной довольно долго. А когда пришел к теряющей терпение миссис Поултни, прочел ей целую лекцию о меланхолии (для того времени и для тех мест он был человек продвинутый) и посоветовал ей предоставлять юной грешнице больше свежего воздуха и свободы.

— Если вы настаиваете...

— Да, дорогая мадам. Более чем. В противном случае я ни за что не отвечаю.

— Для меня это сопряжено с большими неудобствами, — сказала она и, столкнувшись с жестким молчанием, выдохнула: — Я предоставляю ей еще полдня.

Доктор Гроган, в отличие от викария, не зависел в финансовом отношении от миссис Поултни; откровенно говоря, ни одно медицинское заключение о смерти он не подписал бы с меньшей грустью, чем ее. Однако он сдержал всю желчь и лишь напомнил ей о том, что она, выполняя его строгие указания, спит каждый день после обеда. Таким образом Сара получила свободу еще на пол-денечка.

Следующий минус в воображаемом списке: «Не всегда должна присутствовать при посетителях». Тут миссис Поултни загнала сама себя в угол. Ей, конечно же, хотелось, чтобы о ее добрых деяниях становилось известно, что делало необходимым присутствие Сары. Вот только это лицо оказывало самое пагубное влияние на присутствующих. Лежащая на нем печаль выглядела немым укором, а ее редкие подключения к разговору, подсказанные вопросом, который требовал ответа (наиболее сообразительные посетители вскоре научились задавать хозяйке чисто риторические вопросы и тут же переводили взгляд на ее компаньонку и секретаршу), производили обескураживающий эффект – не потому что Сара желала похоронить данную тему, а просто в силу невинной простоты высказывания и здравого смысла, что разворачивало тему совсем в иную плоскость. В этом контексте миссис Поултни казалась себе вздернутой на виселице, как некто, кого она смутно запомнила в детстве.

И снова Сара проявила дипломатичность. Когда приходили какие-то старые знакомые, она оставалась; в других случаях она либо через несколько минут покидала комнату, либо незаметно удалялась, еще когда только объявляли о приходе гостя. Последнее объясняет, почему Эрнестина ни разу не видела ее в «доме Марлборо». Что по меньшей мере давало шанс миссис Поултни поразглагольствовать о кресте, который она принуждена была нести, хотя отсутствие или тихое исчезновение этого самого креста как бы намекало на ее



неспособность справиться со столь тяжелой ношей. Но винить в этом Сару было трудно.

А самый жирный минус я оставил напоследок. «Все еще обнаруживает знаки привязанности к своему соблазнителью».

Миссис Поултни предприняла несколько попыток вытащить из девушки детали ее грехопадения, а также всю глубину раскаяния. Даже мать-игуменья так сильно не желала бы услышать исповедь заблудшей овцы. Но Сара была начеку, что твой морской анемон; с какой бы стороны к ней ни подступали, грешница тотчас угадывала, куда клонит старая дама, и ее ответы по существу, если не буквально, мало чем отличались от того, что она сказала ей во время первого допроса.

Миссис Поултни редко выбиралась из дома, и никогда пешком, а в ландо только к ровням, поэтому в том, что касалось поведения Сары за пределами дома, ей приходилось полагаться на глаза посторонних. К счастью для нее, была такая пара глаз, плюс мозговые извилины, заточенные злобой и возмущением, так что их обладательница с радостью регулярно поставляла отчеты беспокойной хозяйке. Этим шпионом была не кто иная, как миссис Фэйрли. Хотя она не получала никакого удовольствия от чтения вслух, ее задел сам факт отстранения, и при том что мисс Сара была с ней подчеркнуто вежлива и старалась никак не претендовать на полномочия домохозяйки, конфликты были неизбежны. Миссис

Фэйрли вовсе не радовало, что у нее стало чуть меньше работы, поскольку это означало чуть меньше влияния. Спасение Милли – и другие, пусть не столь заметные вторжения – сделали Сару популярной и уважаемой на нижних этажах, и, возможно, самую большую ярость у миссис Фэйрли вызывало то, что она не могла сказать ничего худого своим подчиненным о секретарше-компаньонке. Она была женщиной обидчивой, находившей единственную радость в познании гадостей и ожидании гадостей; так у нее к Саре выработалась ненависть, которая постепенно пропитывалась настоящим ядом.

Она была слишком хитрой лаской, чтобы не прятать этого от миссис Поултни. Больше того, она изображала, как ей жаль «бедную мисс Вудраф», а ее отчеты обильно сдабривались словами «я опасаюсь» и «я боюсь». У нее были все возможности шпионить: помимо того что она часто выбиралась в город по своим обязанностям, в ее распоряжении также была широкая сеть родственников и знакомых. Последним она давала понять, что миссис Поултни заинтересована – разумеется, из лучших христианских побуждений – в информации о поведении мисс Вудраф за пределами высоких каменных стен вокруг «дома Марлборо». А поскольку Лайм-Риджис тогда, как и сейчас, был наводнен сплетнями в не меньшей степени, чем голубой сыр червячками, то каждое передвижение, каждая гримаса Сары – в сгущенных красках или сильно приукрашенные – становились достоянием мис-

сис Фэйрли.

Маршрут дневных прогулок Сары (когда ей не нужно было разносить церковные листки) был достаточно простым, и она его никогда не меняла: вниз по горбатой Паунд-стрит и дальше по такой же Брод-стрит к воротам Кобба, квадратной террасе с видом на море, не имеющей ничего общего с самим Коббом. Там она стояла у стены и глядела на море, но обычно недолго – не дольше, чем капитан на мостике, внимательно оценивающий водную гладь окрест, – а затем поворачивала или на Кокмойл, или в другую сторону, на запад, по тропе длиною в полмили, огибающей непосредственно тихую бухту Кобб. Если она выбирала Кокмойл, то, как правило, заходила в приходскую церковь помолиться несколько минут (о чем миссис Фэйрли не считала нужным упоминать), а потом по соседней аллее выходила к Церковному утесу. Поросшая дерном тропа поднималась к разрушенным стенам Обители чернеца. Там она гуляла, то и дело обращая взор к морю и месту, где тропа соединялась со старой дорогой в Чармут, а отрезок до Обители давно пришел в негодность, и вскоре поворачивала назад в Лайм. Эту прогулку она совершала, когда в Коббе былолюдно; если же обстановка и погода позволяли, то она частенько поворачивала туда и надолго останавливалась в том самом месте, где ее впервые увидел Чарльз. Там, считалось, она чувствовала себя ближе всего к Франции.

Эта информация, должным образом препарированная и задрапированная в черные одежды, подавалась миссис По-

ултни. Но она пока радовалась своей новой игрушке и была к ней расположена, насколько это возможно для столь угрюмого и мнительного персонажа. Впрочем, она без колебаний устраивала игрушке допрос с пристрастием.

– Говорят, что во время ваших прогулок, мисс Вудраф, вас видят в одних и тех же местах. – Под ее обвинительным взглядом Сара опустила глаза долу. – Вы смотрите в открытое море. – Ее гувернантка по-прежнему молчала. – Я довольна, что вы обращены к покаянию.

Сарина реплика не заставила себя ждать.

– Я вам благодарна, мэм.

– Благодарность мне ничего не значит. Есть высший судия, который ее заслуживает в первую очередь.

– Мне ли этого не знать? – тихо произнесла девушка.

– Людям недалеким может показаться, что вы упорствуете в своем грехе.

– Если им известна моя история, они не могут так думать, мэм.

– Однако думают. Они говорят, что вы высматриваете паруса Дьявола.

Сара встала и подошла к окну. Раннее лето, запахи жасмина и сирени, смешанные с пеньем черных дроздов. Она взглянула на море, от которого ее призывали отречься, а потом повернулась к старой даме, застывшей в неумолимой позе в своем кресле, как королева на троне.

– Вы хотите, мэм, чтобы я ушла?

Миссис Поултни внутренне содрогнулась. В очередной раз наивность этой девушки разом погасила бурю гнева, поднимавшуюся в ее душе. Этот голос и другие чары! Хуже того, она могла лишиться процентов, которые получала за распространение небесных посланий. Пришлось сбавить тон.

– Я хочу подтверждений, что этот... человек... вытравлен из вашего сердца. Я знаю, все так, но это еще надо показать.

– Как я должна это показать?

– Выбрав другое место для прогулок. Не ставя себя в жалкое положение. Хотя бы потому, что вас об этом прошу я.

Сара стояла с опущенной головой. Повисло молчание. Потом она посмотрела ей в глаза, и впервые на губах мелькнула слабая улыбка.

– Как скажете, мэм.

Это была хитрая жертва, говоря шахматным языком. Миссис Поултни великодушно продолжила, что не собирается совсем лишать ее радостей морского воздуха и что она может иногда совершать такие прогулки, просто не всегда к морю и «пожалуйста, не стойте на одном месте и не глядите вдаль». Короче, этот пакт уравнивал две навязчивые идеи. Сарино предложение уйти заставило обеих женщин посмотреть правде в глаза – каждую по-своему.

Сара свое слово сдержала – по крайней мере, в выборе маршрута. Отныне она редко выходила к Коббу, но когда это случалось, порой все же позволяла себе постоять и поглядеть вдаль, как это было в вышеописанный день. В конце концов,

сельская местность вокруг Лайма предоставляет много возможностей для прогулок, и почти все с видом на море. Если бы это было единственное Сарино желание, то она могла бы просто ограничиться лужайкой «дома Марлборо».

Миссис Фэйрли на этом сильно проиграла. Ни один случай выхода к морю не оставался без внимания, но они были несчастными, и Сара научилась держать страдания миссис Поултни под контролем, что спасало ее от серьезной критики. И вообще, «бедная Трагедия сумасшедшая», о чем нередко напоминали друг другу шпионка и хозяйка.

Но вы-то без труда зрите в корень: она была не такая уж сумасшедшая, как казалась... и, по крайней мере, не в том смысле, какой в это слово обычно вкладывали. В ее демонстрации покаяния проглядывала некая цель, а люди целеустремленные знают, когда они чего-то достигли и могут на какое-то время позволить себе бездействие.

Но однажды, меньше чем за две недели до начала моей истории, миссис Фэйрли пришла к хозяйке в своем скрипящем корсете и с лицом человека, готового объявить о смерти близкого друга.

– Я должна вам сообщить неприятную новость, мэм.

Эта фраза давно стала для миссис Поултни такой же привычной, как штормовой сигнал для рыбака. Но она решила соблудности условности.

– Я надеюсь, это не касается мисс Вудраф?

– Если бы так, мэм. – Домохозяйка не сводила с нее

глаз, словно желая убедиться в нескрываемом ужасе, который изобразится на лице госпожи. — Но боюсь, что мой долг — сказать вам правду.

— Мы не должны бояться исполнить свой долг.

— Да, мэм.

Но какое-то время рот оставался замкнутым на замок, и можно было только гадать, какая жуть сейчас откроется. Что-то вроде голых танцев на алтаре приходской церкви.

— Она теперь гуляет по Верской пустоши.

Какое падение! Хотя миссис Поултни, похоже, ей не поверила. У нее просто отвалилась нижняя челюсть.

*Поднять глаза она рискнула  
И вдруг румянцем залилась,  
Ответный взгляд внезапно встретив...*

**Альфред Теннисон. Мод**

*...Зеленые ущелья среди романтических скал,  
где роскошные лесные и фруктовые деревья  
свидетельствуют, что не одно поколение ушло  
в небытие с тех пор, как первый горный обвал  
расчистил для них место, где глазу открывается  
такая изумительная, такая чарующая картина,  
которая вполне может затмить подобные ей  
картины прославленного острова Уайт...<sup>38</sup>  
Джейн Остин. Доводы рассудка*

Между Лайм-Риджисом и Аксмутом, в шести милях западнее, открывается один из самых удивительных прибрежных ландшафтов Южной Англии. Сверху это не так бросается в глаза, ты только замечаешь, что если в других местах поля утыкаются в скалы, то здесь они не дотягивают целую милю. Распаханная шахматная доска из зеленых и красно-коричневых квадратиков обрывается с каким-то веселым хулиганством темным каскадом из деревьев и кустарников. Ни-

---

<sup>38</sup> Перевод М. Беккер, И. Комарова.



каких крыш. Если опуститься до бреющего полета, то можно увидеть, что местность пересеченная, разрезанная глубокими впадинами и подчеркнутая необычными утесами и башенками, меловыми и кремневыми, нависающими над густыми зелеными кронами, словно стены разрушенных замков. Но то сверху... а если пешком, то этот с виду неприметный безлюдный ландшафт странным образом растягивается. Люди тут пропадали часами, и когда потом смотрели по карте, где они потерялись, их поражало то, какой силы было ощущение оторванности – а в плохую погоду еще и подорванности.

Береговой оползневый уступ длиной в милю, появившийся в результате эрозии древней вертикальной скалы, по-настоящему крутой. Плоские прогалины в нем так же редки, как посетители. Но эта крутизна в действительности возносит ее саму и всю растительность к солнцу, что, вместе с бесчисленными родниками, вызывающими каменную эрозию, придает горной гряде ботаническое своеобразие: дикие земляничные деревца, падубы и другие деревья, редко встречаемые в Англии, огромные ясени и буки, зеленые расселины, заполненные плющом и лианами клематиса, папоротник-орляк в семь-восемь футов, цветы, раскрывающиеся на месяц раньше, чем где-то по соседству. В летние месяцы это место, больше чем любое другое в стране, напоминает тропические джунгли. Как всякая земля, не обжитая и не обработанная человеком, оно таит в себе загадки, темные закоул-

ки, опасности – буквальные, с геологической точки зрения, поскольку от всяких расщелин и внезапных обрывов можно ждать чего угодно, и если ты загремишь и сломаешь ногу, то можешь кричать хоть целую неделю, все равно тебя никто не услышит. Как ни странно, сто лет назад это место было не столь дикое, как сейчас. Сегодня здесь нет ни одного коттеджа, а в 1867 году стояло несколько, и в них жили егеря, лесники и свинопасы. Похоже, у косуль, предпочитающих полное одиночество, тогда были не такие мирные дни. Зато нынче оползневый уступ превратился в совершенно дикое место. От стен тех домов остались увитые плющом культи, обходные пешеходные дороги исчезли, а до автомобильной еще топать и топать, единственная же сохранившаяся тропа часто становится непроходимой. И все это освящено парламентским актом: национальный природный заповедник. Не все приносится в жертву целесообразности.

Именно сюда, в этот английский эдем, забрел Чарльз 29 марта 1867 года, поднявшись от бухты по горной тропе в восточную часть оползневого уступа под названием Верская пустошь.

Утолив жажду и охладив лоб смоченным носовым платком, Чарльз начал внимательно осматриваться или, по крайней мере, решил внимательно осмотреться. Но окружающие виды, звуки, запахи, первозданно дикая растительность и буйство плодородия увели его далеко от науки. Почва вокруг была золотистой и бледно-желтой от чистотела и при-

мулы, отороченная подвенечно-белым цветущим терновником. Там, где бузина с развеселыми зелеными кончиками затеняла мшистый бережок вокруг ключа, из которого только что пил Чарльз, кучковались мускусница и кислица обыкновенная, радующая глаз своими изящными весенними соцветиями. Выше по склону он увидел белые головки анемонов и сочно-зеленую листву колокольчиков. Где-то поодаль дятел отстукивал мелкую дробь в высокой кроне, прямо над ним тихо посвистывали снегири, из каждого куста подавали голос пеночки. Повернувшись в другую сторону, он увидел плещущее далеко внизу голубое море, взору открывался весь залив с уменьшающимися утесами вдоль бесконечной изогнутой желтой сабли Чезилского побережья, чей далекий кончик утыкался в маяк Портланд Билл, отсюда казавшийся тощим серым призраком среди лазури – этакий диковинный британский Гибралтар.

Только однажды искусство сумело запечатлеть подобные сцены – я говорю о Ренессансе. По такой земле ходили персонажи Боттичелли, в таком воздухе разливались песни Ронсара. Не так уж важно, какие цели и задачи тогда ставила перед собой культурная революция, в чем состояли ее жестокости и поражения; по своей сути Ренессанс был зеленым концом одной из самых суровых зим цивилизации. Концом цепей, границ, несвобод. С универсальным принципом работы: все, что ни есть, хорошо. Короче, у него было все, чего лишен век Чарльза. Но только не думайте, будто, стоя там, он этого

не понимал. Правда заключается в том, что для объяснения смутного ощущения болезни, своей неуместности и ограничений он возвращался к истокам – Руссо, детские мифы о «золотом веке», Благородный дикарь<sup>39</sup>. Иными словами, он пытался освободиться от свойственного его времени неадекватного подхода к природе, полагая, что возвращение в легенду невозможно. Он считал себя слишком избалованным, слишком испорченным цивилизацией, чтобы снова обитать в природе; и это поселяло в нем горько-сладкую печаль, по-своему даже приятную. В конце концов, он был викторианец. Нельзя же ожидать, чтобы он видел то, что мы сегодня только начинаем понимать, имея за плечами куда больше знаний и уроков экзистенциальной философии: желание удержать и желание насладиться оба деструктивны. Он должен был себе сказать: «Я сейчас этим владею, и потому я счастлив» вместо викторианского утверждения: «Я не могу владеть этим всегда, и потому я несчастлив».

В конечном счете наука все же взяла свое, и он начал поиски среди кремневых залежей вдоль русла ручья для проведения будущих экспериментов. Ему удалось найти красивый образец ископаемого морского гребешка, а вот морские ежи не попадались. Он постепенно продвигался между деревьев на запад, останавливался, наклонялся, внимательно

---

<sup>39</sup> Благородный дикарь (фр. *bon sauvage*) – тип персонажа, особенно популярный в литературе эпохи Просвещения. Призван иллюстрировать врожденную добродетельность человека до его соприкосновения с цивилизацией.

разглядывал почву и снова делал несколько шагов, чтобы повторить процедуру. То и дело он переворачивал привлекательный камень концом ясеновой трости. Но удача от него отвернулась. Пролетел час, и его долг перед Эрнестиной начал перевешивать страсть к иглокожим. Он глянул на часы, подавил желание чертыхнуться и повернул обратно туда, где оставил рюкзак. Поднялся по склону и вышел на тропу, ведущую в сторону Лайма, чувствуя спиной лучи заходящего солнца. Тропа шла вверх, слегка изгибаясь вдоль увитой плющом каменной стены, а затем, как это немилосердно делают подобные тропы, неожиданно раздвоилась. Поколебавшись, он прошел метров пятьдесят по нижней тропке, утопленной в поперечной промоине, уже накрытой глубокой тенью. Не зная местности, он принял решение: еще одна тропа неожиданно ответвилась вправо, в сторону моря, через крутой холмик с травяным венчиком, откуда удобно было сориентироваться. В общем, он продрался сквозь кусты ежевики (этой тропой мало кто пользовался) и вышел на маленькое зеленое плато.

Отсюда открывался чудный вид, словно с альпийского лужка. Белые заячьи хвостики – три или четыре – исчерпывающе объясняли коротковатый дерн площадки.

Чарльз стоял под солнцем. Очанка лекарственная и сераделла украшали траву, а заметные зеленые бутоны душицы готовы были вот-вот распуститься. Он подошел к краю плато.

И прямо под собой увидел фигуру.

На одно жуткое мгновение ему показалось, что он нагнулся на труп. Но это была спящая женщина. Она выбрала очень странное место: широкий покатый, покрытый травой выступ, непосредственно под плато, которое его прикрывало от любого наблюдателя за исключением Чарльза, подошедшего к самому краю. Меловые стены этого природного балкончика превратили его в настоящий солярий, ведь своей широкой осевой линией он выходил на юго-запад. Но для многих не солярий определил бы выбор этого места. Склон под балконом обрывался на тридцать или сорок футов в дикие заросли ежевики. А чуть подальше настоящая скала уходила вниз, к самому морскому побережью.

Первым побуждением Чарльза было скрыться из виду. Лица женщины он не разглядел. Он постоял в растерянности, толком не видя открывшийся перед ним прекрасный ландшафт. Он уже собирался уйти, но любопытство заставило его вернуться.

Женщина лежала на спине, погруженная в глубокий сон. Полы пальто распахнулись, открыв темно-синее платье из набивного ситца, педантично застегнутое на все пуговицы, если не считать белого воротничка. Лицо спящей повернуто в обратную от него сторону, а правая рука по-детски закинута назад. Нарванные анемоны разлетелись по траве. В ее позе, на удивление изящной, таилось что-то сексуальное, разбудившее в Чарльзе смутные воспоминания о париж-

ской жизни. Другая девушка, чье имя он сейчас даже не мог вспомнить, а может, и тогда не знал, вот так же спала на расвете в спальне с видом на Сену.

Край плато изгибался, и он зашел сбоку, откуда лучше просматривалось лицо, и только тут до него дошло, чей покой он чуть не нарушил. Женщина французского лейтенанта. Часть волос распустилась и наполовину прикрывала щеку. На мысе Кобб ее волосы показались ему темно-каштановыми, а теперь он увидел теплую рыжину, причем безо всякого масла для волос, которое всенепременно добавляли для блеска. Кожа очень смуглая, в лучах солнца почти красноватая, как будто девушку больше заботило здоровье, чем вошедшие в моду бледные, истомленные щеки. Выразительный нос, густые брови... рот в тени. То, что он ее видит лежащей вниз головой, вызывало у него легкую досаду, но обойти и рассмотреть ее под правильным углом нет никакой возможности.

Он стоял, глядя на нее как замороженный, в трансе от такой встречи, охваченный странным желанием – не сексуальным, а скорее братским или отцовским, осознавая всю невинность этого существа, несправедливо отвергнутого обществом, чем, как подсказывала ему интуиция, и было вызвано ее пугающее одиночество. А что еще, кроме отчаяния, могло привести женщину в возрасте, который отличают нерешительность, робость и непереносимость больших физических нагрузок, в это богом забытое место?

Он подошел к самому краю выступа, и ему наконец открылось ее лицо: никакой печали, увиденной им когда-то, сейчас оно отмечено безмятежностью и даже подобием улыбки. И в этот момент, когда он над ней склонился, она проснулась.

Она так быстро подняла глаза, что прятаться было поздно. Настоящий джентльмен не вправе отрицать очевидное. Поэтому, когда Сара вскочила и, запахнув пальто, воззрилась на незнакомца, он приподнял широкополую фетровую шляпу и отвесил поклон. Она молчала, не сводя с него красивых темных глаз, в которых сквозили испуг, озадаченность и, возможно, доля стыда.

Так они стояли несколько секунд в оцепенении от взаимного непонимания. С виду совсем маленькая, наполовину закрытая каменным выступом, она вцепилась в воротничок платья, как бы давая понять, что если он сделает еще шаг вперед, то она от него побежит со всех ног. Наконец он вспомнил о приличиях.

– Тысяча извинений. Я случайно на вас наткнулся.

Он развернулся и зашагал прочь, не оборачиваясь. Прорвался сквозь кусты к тропе и, лишь дойдя до развилки, посоветовал, что у него не хватило духу спросить, как отсюда выбираться. Подождал полминуты – вдруг она последовала за ним? Но она так и не показалась. И тогда он решительно зашагал вверх по крутому склону.

Хотя Чарльз не отдавал себе в том отчета, но в эти несколько секунд на плато, под которым в ожидании плеска-



лось море, нарушая тишину этого светлого вечера, викторианская эпоха потерялась. И не потому, что он пошел не той тропой.

# 11

*Выполняй свой долг престрого,  
Пусть в нем смысла и немного:  
Пой церковные хвалы,  
Посещай всегда балы,  
Выйди замуж тихой сапой,  
Как желают мама с папой.*

**Артур Хью Клаф. Долг (1841)**

*«Кто? Этот чудик? Молчи уже. Ша!  
Я за него не дам ни гроша!  
Да, я согласна, модный мальчонка,  
Складно на нем сидит одесонка,  
Но – ты же знаешь, что я не ханжа —  
Не отличит он ежа от ужа!»*

**Уильям Барнс. На дорсетский лад (1869)**

Примерно в это же время Эрнестина спрыгнула с кровати и достала из ящичка в туалетном столике свой дневник в черном сафьяновом переплете. Поджав губы, она прочла не слишком вдохновенную, с литературной точки зрения, утреннюю запись: «Написала письмо мамá. Не видела дорогого Чарльза. Не выходила из дома, хотя погода отличная. Не в настроении».

День для бедной девушки не задался, и свое недовольство

она могла показать только тетушке. В комнате стояли нарциссы от Чарльза, но даже эти запахи поначалу ее раздражали. Дом был маленький, и она все слышала: как постучал слуга Сэм и ему открыла нечестивая и беспардонная Мэри, как они там шептались и она сдавленно хихикала, как она потом захлопнула за ним дверь. Страшное, одиозное подозрение промелькнуло у нее в голове: не Чарльз ли стоял внизу и флиртовал со служанкой? Эта мысль разбредила ее потаенные страхи.

Она знала о его жизни в Париже и Лиссабоне и о его частых путешествиях, о том, что он ее старше на одиннадцать лет, что женщины находят его привлекательным. Его ответы на ее умеренно игривые допросы по поводу прошлых побед звучали так же умеренно игриво, вот здесь-то и была собака зарыта. Она носом чуяла: он от нее что-то скрывает – трагическую французскую графиню, страстную португальскую маркизу. Ее фантазия не простиралась до парижской гризетки или трактирной служанки с миндалевидными глазами в городке Синтра, что было бы гораздо ближе к истине. Однако в каком-то смысле, спал ли он с другими женщинами, волновало ее не так сильно, как современную девушку. Разумеется, Эрнестина пресекала всякую греховную мысль авторитарным «Я не должна», но ее ревность больше относилась к сердцу Чарльза. *Его* она не готова была делить ни с кем – ни тогда, ни сейчас. Принцип Оккама<sup>40</sup> был ей

---

<sup>40</sup> Закон минимума допущений.

неведом. Поэтому простой факт, что он никогда не любил, в часы меланхолии являлся для нее несомненным доказательством того, что у него в прошлом была настоящая страсть. Его внешнее спокойствие воспринималось ею как ужасное, хоть и молчаливое напоминание о любовном сражении, таком Ватерлоо месячной давности, а не как банальная констатация – это сердце не хранило подобных историй.

Когда парадная дверь закрылась, Эрнестина с достоинством проконтролировала себя в течение полутора минут, после чего ее тонкая кисть потянулась к золоченой ручке рядом с кроватью и настойчиво ее подергала. Снизу из кухни донеслось приятно-повелительное треньканье, вскоре слышались шаги, стук в дверь, и на пороге появилась Мэри с вазой, а в ней настоящий водопад из весенних цветов. Девушка остановилась у кровати. Ее лицо, наполовину скрытое букетом, озаряла улыбка, способная обезоружить любого мужчину... вот только на Эрнестину эта улыбка произвела обратный эффект: она встретила нежелательное явление богини Флоры кислой и враждебной гримасой.

Из трех молодых женщин, мелькающих на этих страницах, Мэри я бы назвал самой красивой. В ней жизнь была ключом, а эгоизм практически отсутствовал; добавьте сюда физические прелести... изысканно чистый, чуть розоватый цвет лица, волосы, что твой кукурузный початок, и восхитительные огромные серо-голубые глаза, провоцировавшие мужчин и с той же игривостью отвечавшие на их provoca-

ции. В них неудержимо пузырилось шампанское, и оно никогда не выдыхалось. Даже тоскливые викторианские наряды, которые ей приходилось надевать, не могли скрыть фигуру со всей ее стройностью и многообещающими округлостями... последнее слово звучит как будто не слишком доброжелательно, но я недавно вспоминал Ронсара, и тут напрашивалось словечко из его лексикона, коему нет эквивалента в английском языке: *rondelet*<sup>41</sup> – то, что соблазняет своей округлостью, при этом не утрачивая стройности.

Праправнучка Мэри, которой как раз сейчас, когда я пишу эту книгу, исполняется двадцать два года, очень похожа на свою прародительницу, а ее лицо известно во всем мире – одна из самых видных британских киноактрис молодого поколения.

Но в то время – 1867-й – это лицо, увы, не казалось выигрышным. Например, той же миссис Поултни, которая впервые его увидела тремя годами ранее. Мэри была племянницей кузины миссис Фэйрли, уговорившей хозяйку подвергнуть неопытную девушку испытанию – взять ее на кухню. В результате «дом Марлборо» подошел Мэри не хуже, чем склеп подошел бы щеглу. Но однажды миссис Поултни, из окна спальни обводя суровым взором свои владения, увидела мерзкую картину: помощник конюха приставал к Мэри с поцелуями, и та не очень-то сопротивлялась. Щегол немедленно получил свободу и тут же перелетел в дом миссис

---

<sup>41</sup> Пухленькая (*фр.*).

Трантер, несмотря на грозные предостережения миссис Поултни, дескать, та поступает весьма неосмотрительно, давая кров отъявленной распутнице.

На Брод-стрит Мэри была счастлива. Миссис Трантер любила хорошеньких девушек, а хорошеньких хохотушек тем паче. Конечно, о родной племяннице Эрнестине она пеклась больше, но ее она видела один-два раза в год, а Мэри каждый день. За ее внешней живостью и флиртом скрывалось мягкое радушие, и она без колебаний возвращала полученную теплоту. Эрнестина не ведала о страшном секрете дома на Брод-стрит: когда повариха получала день отдыха, хозяйка с молодой служанкой вместе ели на кухне внизу, и это были не самые плохие минуты в жизни обеих.

Мэри была не без недостатков, и одним из них можно считать ее ревность к Эрнестине. Дело заключалось не только в том, что с появлением юной столичной дамы она сразу лишалась статуса подпольной фаворитки, но та еще заявлялась с полными чемоданами модных тряпок из Лондона и Парижа – не самая приятная картина для служанки, у которой за душой всего три платья, и все три ей не по нраву, причем даже лучшее из них ее не устраивало лишь потому, что она его получила в подарок от столичной принцессы. А еще она считала, что Чарльз слишком хорош собой для женитьбы, тем более на таком бледном создании, как Эрнестина. Вот почему Чарльза так часто встречали серые барвинковые глаза, и не только когда она впускала его в дом, но и на улице.

Мэри хитрым образом подстраивала эти случайные встречи, и когда он приподнимал перед ней шляпу в молчаливом приветствии, она мысленно задирала нос перед Эрнестиной. Она отлично знала, почему племянница миссис Трантер так резко поднимается к себе после каждого ухода Чарльза. Как все субретки, она позволяла себе думать о вещах, для юной госпожи непозволительных.

Должным образом, не без издевки продемонстрировав свой здоровый вид и веселость перед недомогающей, Мэри поставила на комод вазу с цветами.

– От мистера Чарльза, мисс Тина. Наилучшими пожеланиями. – Мэри говорила на диалекте, часто игнорировавшем всякие служебные слова.

– Переставь их на туалетный столик. Так близко не надо.

Мэри выполнила ее волю и уже по собственной начала тащить цветы, прежде чем повернуться с улыбкой к Эрнестине, смотревшей на нее с подозрением.

– Он сам их принес?

– Нет, мисс.

– А где мистер Чарльз?

– Не знаю, мисс. Я ить не спрашивала. – Она сжала губы, словно боясь расхихикаться.

– Но я слышала, как ты разговаривала с мужчиной.

– Да, мисс.

– О чем же?

– О погоде, мисс.

– И это у тебя вызвало смех?

– Он ить так смешно говорит, мисс.

Сэм, которому она открыла, мало чем напоминал мрачного и недовольного молодого человека, который точил бритву. Он всучил проказнице Мэри красивый букет.

– Эт' для прекрасной м'лодой леди наверху. – Тут он ловко выставил вперед ногу, опережая закрывающуюся дверь, и не менее ловко вынул из-за спины букетик крокусов, зажатый в другой руке, а освободившейся рукой сорвал с головы *à la mode*<sup>42</sup> цилиндр. – А эт' для еще более прекрасной леди внизу.

Мэри заметно покраснела, а давление двери на ногу гостя странным образом ослабло. Он наблюдал за тем, как она нюхает желтые цветы, не формально, из вежливости, а с чувством, так что на кончике ее очаровательного дерзкого носика отпечаталась шафрановая пыльца.

– Пакет с сажей будет доставлен, как п'лагается.

Она немного подождала, прикусив губу.

– Тольк' с условием. Никакого кредита. Живыми деньгами.

– И сколь эт' будет стоить?

Рубаха-парень разглядывал свою жертву так, словно прикидывал реальную цену. Затем приложил палец к губам и недвусмысленно подмигнул. Это-то и вызвало подавленный смех, после чего Мэри захлопнула дверь.

---

<sup>42</sup> Модный (фр.).



Эрнестина смерила служанку взором, который оценила бы сама миссис Поултни.

– Помни, что он приехал из Лондона.

– Да, мисс.

– Мистер Смитсон говорил со мной об этом малом. Он считает себя дон-жуаном.

– Эт' что значит, мисс Тина?

Мэри явно горела желанием узнать подробности, что Эрнестине сильно не понравилось.

– Неважно. Но если он станет к тебе приставать, немедленно скажи мне. А сейчас принеси мне ячменного отвару. И в будущем води себя осмотрительнее.

В глазах Мэри промелькнул вызывающий огонек. Но она тут же опустила взгляд вместе с кружевным чепчиком, сделала формальный книксен и покинула комнату. Три пролета вниз и три пролета с ковшиком вверх – притом что полезный для здоровья ячменный отвар тетушки Трантер был Эрнестине совершенно не нужен – успокоили служанку.

В каком-то смысле Мэри выиграла дуэль, напомнив Эрнестине, не столько домашнему тирану, сколько испорченному ребенку, что в обозримом будущем ей предстоит уже не играть роль хозяйки дома, а брать бразды правления в свои руки. Какая приятная мысль: собственный дом, свобода от родителей... вот только с прислугой, говорят, проблемы. Уже не та, что прежде. Сплошные хлопоты. Пожалуй, мысли Эрнестины были не так уж далеки от раздумий Чарльза, обли-

вавшегося потом и устало ковылявшего вдоль морского побережья. Жизнь устроена правильно, считать иначе – ересь, свой крест надо тащить здесь и сейчас.

Чтобы отогнать мрачные предчувствия, до конца не отпускаящие ее с самого утра, Эрнестина вытащила дневник, устроилась на кровати поудобнее и снова вернулась к страничке, отмеченной веточкой жасмина.

В середине века в Лондоне началось плутократическое выравнивание общества. Конечно, ничто не могло заменить чистоту крови, однако все сошлись на том, что хорошие деньги и хорошая голова способны искусственно породить вполне достойный заменитель социального статуса. Дизраэли – не исключение, а типичный пример того времени. В молодости дед Эрнестины был всего лишь зажиточным драпировщиком в квартале Сток Ньюингтон, а умер он уже очень богатым драпировщиком – больше того, переехав в коммерческий район центрального Лондона, он открыл в Вест-Энде большой магазин и расширил свой бизнес далеко за пределы драпировок. Ее отец дал ей то, что получил сам: лучшее образование, какое только можно купить за деньги. Во всех отношениях, за исключением происхождения, он был безукоризненный джентльмен и женился, с некоторым повышением, в Сити на дочери успешного адвоката, у которого среди предков был ни много ни мало генеральный прокурор. Так что притязания Эрнестины по поводу социаль-

ного статуса были далеко идущими даже по викторианским стандартам. Но Чарльза это нисколько не волновало.

– Вы только вдумайтесь, – сказал он ей однажды, – какая у меня плебейская фамилия. Смитсон.

– Да уж. Если бы вы были лорд Брабазон Вавазур Вир де Вир, как бы я вас тогда полюбила!

За ее самоиронией скрывался страх.

Они познакомились год назад, в ноябре, в доме знатной дамы, которая положила на него глаз, имея в виду избалованную пташку из собственного выводка. К несчастью, перед началом вечера юных девушек проинструктировали родители, и они совершили кардинальную ошибку, изображая перед Чарльзом интерес к палеонтологии – мол, не подскажете ли названия наиболее интересных книг в этой области, – тогда как Эрнестина с прохладцей демонстрировала всем своим видом, что не принимает его всерьез. И пообещала послать ему образец угля, который нашла в ведерке. Позже она ему призналась в том, что он показался ей жутким бездельником. «Это почему же?» – поинтересовался он. Потому что, входя в любую лондонскую гостиную, он сразу отмечает устремленные на него заинтересованные взгляды.

Та первая встреча обещала стать для них обоих еще одним скучным вечером, но, разойдясь по домам, они поняли, что это не так.

Они нашли друг в друге высокий интеллект, особый такт, приятную сухость. Эрнестина дала понять близким, что

«этот мистер Смитсон» приятным образом отличается от скучных кавалеров, представленных ей в этом светском сезоне. Ее мать осторожно навела справки и посоветовалась с супругом, который в свою очередь прозондировал почву. Ибо ни один молодой человек не переступал порога дома с видом на Гайд-парк без предварительной проверки, сравнимой разве что с тем, как сегодняшняя служба безопасности проверяет ученых-атомщиков. Чарльз с блеском прошел это секретное испытание.

Эрнестина сразу осознала ошибку своих соперниц: все попытки навязать Чарльзу невесту обречены на провал. Поэтому, когда он стал посещать приемы и суаре в их доме, он впервые столкнулся с отсутствием всяких признаков матримониальной ловушки: ни тонких намеков матери на то, что ее любимая дочь обожает маленьких детей и «втайне мечтает об окончании светского сезона» (предполагалось, что Чарльз окончательно обоснуется в Уинсайетте, после того как его путающийся под ногами дядя исполнит свой долг), ни более прозрачных намеков отца по поводу размеров приданого «его малышки». Впрочем, подобные намеки были бы излишни – особняк в Гайд-парке устроил бы даже герцога, а отсутствие братьев и сестер говорило больше, чем любые банковские отчеты.

Хотя Эрнестина очень скоро твердо для себя решила, как это умеют делать избалованные дочери, что Чарльз достанется ей, она не пошла ва-банк. Она держала рядом привле-

кательных молодых людей и не выказывала главной своей жертве особых знаков внимания. Она принципиально никогда не была с ним серьезной, и у него сложилось впечатление, что он ей нравится только потому, что с ним весело. Но при всем при том она понимала, что он никогда не женится. И вот наступил январский вечер, когда она решила бросить в землю роковое зернышко.

Чарльз стоял один, а в противоположном углу гостиной расположилась старая вдова, этакий мейферский<sup>43</sup> эквивалент миссис Поултни, женщина, которая должна была понравиться по душе Чарльзу примерно как касторовое масло здоровому ребенку.

– Вы не хотите поболтать с леди Фэйруэзер? – обратилась Эрнестина к Чарльзу.

– Я предпочел бы поболтать с вами.

– Я вас ей представлю, и это будет живая свидетельница того, что происходило в раннюю меловую эру.

Он улыбнулся.

– Меловой период. Не эра.

– Неважно. Достаточно давно. Я же знаю, какую тоску на вас наводит все, что произошло в последние девяносто миллионов лет. Пойдемте.

И они вместе направились через гостиную, но на полпути к «меловой даме» Эрнестина остановилась, коснулась его руки и заглянула ему в глаза.

---

<sup>43</sup> Мейфер – фешенебельный район Лондона.

– Если вы твердо выбрали путь старого угрюмого холостяка, мистер Смитсон, то вам надо попрактиковаться.

И пошла дальше, не дав ему ответить. Можно было бы подумать, что она лишь продолжает над ним подтрунивать. Однако ее глаза в этот короткий миг дали понять, что ему сделано предложение столь же недвусмысленное, как предложения гуляющих женщин, толкавшихся вокруг Хеймаркета<sup>44</sup>.

Ей было невдомек, что она затронула особенно чувствительную точку в глубине его души: ощущение, что он все больше становится похож на своего дядю, что жизнь проходит мимо, что он слишком привередлив, слишком ленив, слишком эгоистичен... чтобы не сказать хуже. Последние пару лет он не выезжал за границу и понял, что предыдущие путешествия заменяли ему семью. Они отвлекали его от домашних дел, а заодно позволяли уложить в постель какую-нибудь женщину; в Англии он строжайшим образом отказывал себе в таком удовольствии, возможно, хорошо помня черную ночь, связанную с подобной эскападой.

К путешествиям его уже не тянуло, а вот к женщинам – да, и он пребывал в состоянии сильнейшей сексуальной фрустрации, так как моральные устои не позволяли ему простейшим образом разрешить проблему, проведя недельку в Остенде или в Париже. Такая цель не может быть поводом для поездки! Он провел целую неделю в раздумьях. И одна-

---

<sup>44</sup> Улица в центральной части Лондона, где когда-то был сенной рынок.

жды проснулся с мыслью.

Все просто. Он любит Эрнестину. Как будет приятно проснуться вот в такое холодное серое утро, когда земля покрыта снегом, и увидеть рядом спокойное сладковато-терпкое спящее личико и к тому же – подумать только! это обстоятельство его как-то даже удивило – узаконенное как в глазах Божиих, так и в его собственных. Через пару минут он огорошил еще сонного Сэма, который к нему поднялся после настойчивого брэнчания колокольчика, восклицаниями: «Сэм! Я полный идиот, да простят меня небеса!».

Спустя день или два у неисправимого идиота состоялась беседа с отцом Эрнестины. Короткая, но более чем удовлетворительная. После чего он спустился в гостиную, где мать Эрнестины сидела в состоянии обостренного тревожнения. Она не смогла ничего сказать Чарльзу и только неопределенно махнула в сторону оранжереи. Он открыл двустворчатую белую дверь, и в лицо ему ударила волна теплого благоухающего воздуха. Ему пришлось искать девушку, и наконец он ее обнаружил в дальнем закутке, наполовину сокрытую стефанотисом. Она бросила в его сторону беглый взгляд и тут же отвела глаза. В руке она держала серебряные ножницы, делая вид, что срезает засохшие соцветия сильно пахнущего растения. Подойдя к ней сзади, Чарльз кашлянул.

– Я пришел сказать адыю. – Страдальческий взгляд, которым было встречено это сообщение, он постарался не заметить с помощью простой уловки – уставился в пол. – Я решил

покинуть Англию. Буду скитаться до конца дней. А как еще может себя развлечь старый угрюмый холостяк?

Он собирался продолжать в том же духе, но заметил ее поникшую голову и побелевшие костяшки пальцев, которыми она вцепилась в столешницу. Обычно Эрнестина сразу угадывала иронию, сейчас же ее замедленная реакция выдавала глубокие переживания, и ему это передалось.

– Но если бы кто-то, кому я небезразличен, согласился разделить со мной...

Закончить он не смог, так как она подняла к нему глаза, полные слез. Их руки встретились, и он притянул ее к себе. Поцелуя не последовало. Конечно, нет. Можно ли в течение двадцати лет безжалостно загонять в себя природный инстинкт и при этом ожидать, что пленник вдруг вырвется наружу вместе с рыданиями?

Через несколько минут, когда Тина немного успокоилась, Чарльз вывел ее из оранжереи, но перед этим остановился возле куста жасмина, сорвал веточку и шутливо пристроил у нее над головой.

– Хотя и не омела, но тоже сойдет, не так ли?<sup>45</sup>

На этот раз все произошло, но поцелуй был невинен, как у детей. Эрнестина снова заплакала, потом вытерла слезы и позволила Чарльзу отвести ее в гостиную, где молча стояли ее мать и отец. К чему слова! Дочь бросилась в материн-

---

<sup>45</sup> Рождественская традиция: влюбленные целуются под белой омелой, чтобы всю жизнь быть вместе.



ские объятия, и тут уже слез было не остановить. А мужчины друг другу улыбались: один так, будто он только что заключил отличную сделку, а другой – словно не до конца понимая, на какой планете он приземлился, но искренне надеясь, что инопланетяне встретят его радушно.

*В чем состоит отчуждение труда? Во-первых, он нечто внешнее для рабочего, не является частью его природы, и, как следствие, рабочий не реализует себя в труде, но отрицает свое «я», испытывает страдания, а не радость... Таким образом, рабочий чувствует себя как дома только во время отдыха, а во время работы чувствует себя бездомным.*  
**Карл Маркс. Экономические и политические записки (1844)**

*Но был ли день моей улады  
 Так чист и чуден, как казался?*

**Альфред Теннисон. In Memoriam**

Чарльз ускорил шаг через перелесок Верской пустоши, оставив позади мысли о загадочной женщине. Примерно через милю он увидел первый аванпост цивилизации. На склоне чуть пониже тропы стоял длинный, крытый соломой деревенский коттедж. Вокруг него раскинулись лужки, простиравшиеся до самых скал, и, выйдя на пустошь, Чарльз заметил мужчину, выгоняющего стадо из приземистого коровника. Он мысленно увидел картинку: чаша с восхитительно холодным молоком. После двойной порции кексов на завтрак во рту у него ничего не было. Чай и заботливость миссис

Трантер притягивали, но чаша с молоком отчаянно призывала... и до нее было рукой подать. Он спустился по крутому травянистому склону и постучал в заднюю дверь коттеджа.

Ему открыла женщина-бочонок с пухлыми ручками в мыльной пене. Да, молоко он получит в неограниченном количестве. Как называется ферма? «Сыроварня». Чарльз последовал за ней в комнату со скошенным потолком. Темноватая, холодная, с шиферной половой плиткой и тяжелым запахом выдержанного сыра. Котлы и большие медные кастрюли на деревянных треножниках (каждая играла золотистой сметанной корочкой) выстроились в ряд под головками сыра, на открытых стропилах, таким эскадроном запасных круглых лун. Чарльз вспомнил, что слышал про эту ферму от миссис Трантер. Здешняя сметана и масло пользовались популярностью у местных жителей. Когда он назвал тетушкино имя, женщина, налившая жирного молока из маслобойки в простую сине-голубую чашу, какую он себе и представлял, ответила ему улыбкой. Теперь он был для нее не таким чужаком, а вполне желанным гостем.

Когда они разговаривали уже перед маслобойней, вернулся муж, выгнавший коров гулять. Это был лысый бородатый мужчина с угрюмой физиономией, такой Иеремия. Он окинул жену мрачным взглядом. Она тут же прикусила язык и ушла к своим медным кастрюлям. Муж явно был человеком неразговорчивым, хотя на вопрос Чарльза, сколько он ему должен за большую чашу отличного молока, откликнул-

ся весьма живо. И один пенни – тот самый, с головкой очаровательной юной королевы Виктории, который и сегодня иногда еще попадает вместе со сдачей, изрядно стертый от векового употребления, только эта милая головка и сохранилась – перекочевал из кармана в карман.

Чарльз уже собирался снова подняться на тропу, когда из перелеска вышла черная фигурка. Это была она. Поглядев на двух мужчин внизу, девушка продолжила путь в сторону Лайма. Чарльз перехватил взгляд дояра, смотревшего на нее с нескрываемым осуждением. Никаких поблажек, если речь идет о Судном дне.

– Вы знаете эту даму?

– Да.

– И часто она сюда заходит?

– Частенько. – Дояр не сводил глаз с удаляющейся фигурки. – Никакая она не дама. Шлюха французского лейтенанта.

Чарльз не сразу осознал смысл сказанного. Он окинул недобрый взглядом бородатого методиста, привыкшего все называть своими именами, особенно когда речь шла о чужих грехах. Для Чарльза он был олицетворением лицемерных сплетен, которыми жил Лайм. Это спящее лицо сказала Чарльзу о многом, только не о том, что оно принадлежало шлюхе.

Вскоре он уже сам шагал по гужевой дороге в Лайм. В прибрежном лесу, покрывавшем также высокий хребет, который наполовину скрывал море, петляли две меловые тропин-

ки. А впереди маячила спина девушки в черном и в шляпке. Она шла не быстро, но ровной походкой, безо всякой женской аффектации, как человек, привыкший к большим переходам. Чарльз ускорил шаг и через сотню метров почти ее догнал. Она, скорее всего, слышала, как его кованые ботинки цокают по кремневой гальке, пробивающейся сквозь меловое покрытие, но не оборачивалась. Он про себя отметил, что пальто на ней великоватое, а каблуки заляпаны грязью. Он вдруг заколебался, однако, вспомнив мрачный взгляд доря-раскольника, все же утвердился в своем первоначальном намерении истинного кавалера: показать бедной женщине, что не все вокруг нее варвары.

– Мадам!

Она обернулась и увидела его без шляпы, улыбающегося. И хотя на ее лице изобразилось обычное удивление, оно снова произвело на него сильнейший эффект. Он как будто не верил своим глазам и каждый раз требовал нового подтверждения. Оно одновременно брало его в полон и отвергало, как образ во сне, который стоит неподвижно и при этом тает на глазах.

– Я должен перед вами дважды извиниться. Вчера, не зная, что вы секретарша миссис Поултни, я обратился к вам без должного почтения.

Она не поднимала головы.

– Пустяки, сэр.

– И вот сейчас я подошел... мне показалось, что вам нехо-

рошо.

Не глядя на него, она повернулась и зашагала дальше.

– Я могу вас сопроводить? Нам ведь по пути.

Она остановилась, но поворачиваться к нему не стала.

– Я предпочитаю ходить одна.

– Это миссис Трантер помогла мне осознать свою ошибку.

Меня зовут...

– Я знаю, кто вы, сэр.

Этот смущенный выплеск вызвал у него улыбку.

– Так я могу...

Она вдруг подняла глаза, и сквозь робость промелькнуло отчаяние.

– Позвольте мне идти одной.

Улыбка с его лица исчезла, и он, согласно кивнув, отступил назад. Но, вместо того чтобы продолжить путь, она секунду постояла, смотря себе под ноги.

– И, пожалуйста, никому не говорите, что вы меня здесь видели.

Она пошла прочь, словно осознав, что ее просьба невыполнима, и пожалев о своих словах. Застыв посреди дороги, Чарльз провожал взглядом удаляющуюся черную спину. С ним осталось лишь воспоминание о ее глазах, каких-то огромных, кажется, способных больше видеть и больше страдать. И ее прямой взгляд – пробирающий до печеник, хоть он об этом еще не догадывался – в себе скрывал этакий

вызов. Не подходи ко мне. *Noli me tangere*<sup>46</sup>.

Он огляделся в попытке понять, почему она не хочет, чтобы стало известно о ее прогулках в этом невинном лесу. Некий мужчина? Любовное свидание? И тут, конечно, вспомнилась ее история.

Когда Чарльз наконец добрался до Брод-стрит, он решил заглянуть к миссис Трантер по дороге в гостиницу «Белый лев» и сказать, что после того, как он примет ванну и переодеется, он непременно...

Открыла ему Мэри, но миссис Трантер, которой случилось быть рядом – точнее, она специально вышла в прихожую, – призвала его не церемониться, тем более что с его одеждой все в порядке. Мэри с улыбкой забрала у него ясеневую трость с рюкзаком и провела в маленькую заднюю гостиную, освещенную лучами заходящего солнца, где больная возлежала в прелестном карминно-сером дезабилье.

– Я чувствую себя ирландским землекопом в королевском будуаре, – посетовал Чарльз, целуя пальцы Эрнестины и тем самым показывая, что до ирландского землекопа ему далеко.

Она высвободила руку.

– Вы не получите даже глотка чая, пока не отчитаетесь во всех подробностях, как вы провели этот день.

Он должным образом описал все, что с ним случилось... или почти все, так как Эрнестина уже дважды давала ему по-

---

<sup>46</sup> Не трогай меня (лат.).

нять, что тема женщины французского лейтенанта ей неприятна: первый раз на набережной Кобба и позже, за обедом, когда тетушка Трантер сообщила Чарльзу сведения об этой девушке, точь-в-точь совпадающие с тем, что местный викарий говорил миссис Поултни год назад. Тогда Эрнестина упрекнула тетушку-сиделку за то, что она утомляет гостя скучными сплетнями, и та, уже привыкшая к обвинениям в провинциальности, покорно умолкла.

Чарльз достал принесенный ей в подарок кусок аммонита, и Эрнестина, отложив пламегаситель, попробовала его удерживать в ладони и не смогла, после чего все ему простила за этот подвиг Геркулеса и с шутливой серьезностью распекла его за то, что он рисковал переломом ноги и самой жизнью.

– Удивительное место – этот береговой оползневый уступ. Я себе не представлял, что такие дикие места в Англии еще существуют. Оно мне напомнило некоторые приморские ландшафты в северной Португалии.

– Да вас заворожили! – воскликнула Эрнестина. – Чарльз, признайтесь, вы не рубили головы несчастным скалам, а развлекались с дриадами.

Чарльз скрыл за улыбкой охватившее его необъяснимое смущение. У него чуть не сорвалось с языка ироническое признание, как он наткнулся на девушку, что было бы предательством как ее неизбывной печали, так и его собственной чести. Он бы солгал, если бы отнесся к двум встречам с ней с показной легкостью, и потому посчитал, что в комнате,



где звучат банальности, молчание будет наименьшим злом.

Следует объяснить, почему двумя неделями ранее Верская пустошь ассоциировалась у миссис Поултни с Содомом и Гоморрой.

Собственно, все исчерпывалось простым объяснением: это ближайшее от Лайма место, куда можно уйти, не рискуя, что за тобой станут шпионить. С затерянной длинной полосой была связана не очень хорошая правовая история. Эта земля считалась общинной до выхода акта об огораживании, после чего ее стали понемногу захватывать, как это случилось с «Сыроварней». Владелец большого дома за пустошью тихой сапой совершил аншлюс с одобрения людей его круга, как это в истории обычно и бывает. А прореспубликански настроенные жители Лайма взялись за оружие – если топоры можно так назвать, – поскольку этот джентльмен решил прихватить еще и дендрарий на оползневом уступе. Дело дошло до суда, вынесшего компромиссное решение с правом прохода через чужую территорию. Таким образом, редкие деревья не пострадали, но общинная земля приказала долго жить.

Однако у всех сохранилось ощущение, что Верская пустошь – это общее достояние. Браконьеры, не слишком заморачиваясь, охотились там на фазанов и кроликов, а однажды – о ужас! – выяснилось, что банда цыган пряталась там в скрытой ложине бог знает сколько месяцев. Этих отвержен-

ных, конечно, тут же отвергли, но память об их пребывании сохранилась в связи с исчезновением девочки из соседней деревни. Считалось общим местом – извиняюсь за невольный каламбур, – что ее украли цыгане, мясо бросили в кроличье рагу, а кости закопали. Цыгане не англичане, а стало быть, почти наверняка каннибалы.

Но против Верской пустоши выдвигались обвинения и по-серьезнее, и связаны они были с поведением куда более постыдным. Хотя официально гужевая дорога, что вела к маслобойне и дальше, так не называлась, местные ее окрестили «шальной дорожкой». Каждое лето по ней уходили влюбленные парочки под предлогом попить молочка на ферме, а на обратном пути разные тропинки приводили их в убежища, надежно прикрытые зарослями папоротника и вереска.

Эта открытая рана сама по себе внушала беспокойство, однако была болезнь пострашнее. Существовала допотопная (и тем паче дошекспировская) традиция: в ночь Ивана Купалы молодые должны прихватить скрипача и с зажженными фонарями, а также с бочонком сидра добраться до покрытой дерном поляны, известной как Мечта ослицы, в самой лесной чаще, и там отпраздновать равноденствие веселыми танцами. Люди говорили, что после полуночи танцы уступали место попойке, а злые языки утверждали, что того и другого было не так уж много, зато кое-чего еще не в пример больше.

Современная агрокультура, изучающая миксоматоз<sup>47</sup>,

---

<sup>47</sup> Инфекционное заболевание кроликов.

лишь недавно окончательно лишила для нас это место привлекательности, но сам обычай стал уходить в прошлое вместе с изменением сексуальных нравов. Уже давно в ночь Ивана Купалы на дивной поляне барахтаются разве что лисы да барсуки. Но в 1867 году все обстояло иначе.

Всего годом раньше женский комитет, возглавляемый миссис Поултни, потребовал от местных властей огородить «шалую дорожку» и проход по ней закрыть. Однако более демократические голоса возобладали. Публичные права являются священными. А кое-кто из мерзких сенсуалистов договорился до того, что дорога к маслобойне – всего лишь невинное удовольствие, а поляна Мечта ослицы – не более чем ежегодная шутка. Но в кругу уважаемых горожан одного упоминания, что какой-то юноша или девушка «захаживает на Верскую пустошь», было достаточно, чтобы запятнать его или ее репутацию навсегда. С этого дня юноша становился сатиром, а девушка проституткой.

Вернувшись домой после долгой прогулки, в течение которой благородная миссис Фэйрли исполняла ее обязанности по дому, Сара застала хозяйку застывшей в ожидании. Я написал «застывшей в ожидании», хотя правильнее, наверное, было бы сказать «готовой к отпеванию». Когда Сара вошла в приватную гостиную, чтобы почтить ей перед сном Библию, ее встретил взгляд, больше похожий на дуло пушки. Было ясно, что миссис Поултни может выстрелить в любую минуту, и грохот будет оглушительный.

Сара направилась к кафедре в углу комнаты, где в нерабочее время лежала большая «семейная» Библия, но не та, о которой вы могли подумать, а Священное Писание, откуда с должной набожностью удалили отдельные необъяснимые огрехи по части вкуса, вроде «Песни песней». Интуиция подсказала ей – ситуация тревожная.

– Что-то не так, миссис Поултни? – спросила она.

– Очень даже не так, – ответила аббатиса. – Мне рассказывали такое, что я ушам своим не поверила.

– Это связано со мной?

– Зря я тогда послушала доктора. Надо было слушать голос собственного разума.

– Но что я сделала?

– Я вовсе не считаю вас сумасшедшей. Вы хитрое, изворотливое существо. Вы прекрасно знаете, что вы сделали.

– Я готова поклясться на Библии...

В глазах миссис Поултни вспыхнуло негодование.

– Еще чего! Это было бы святотатство.

Сара подошла ближе и остановилась перед хозяйкой.

– Я должна знать, в чем меня обвиняют.

К изумлению миссис Поултни, Сара, получив пояснение, не выразила никаких признаков стыда.

– Какой грех в том, что я была в Верской пустоши?

– Какой грех?! Вы, молодая женщина, гуляете одна в таком месте!

– Но, мэм, это же обычный лес.

– Мне хорошо известно, как она выглядит и что там происходит. А также какого рода люди там гуляют.

– Там никто не гуляет. Поэтому я туда хожу – чтобы побыть одной.

– Вы мне перечите, мисс? Я знаю, что говорю!

Факт № 1: миссис Поултни никогда не видела Верскую пустошь своими глазами, даже издалека, поскольку та не просматривалась ни с одной проезжей дороги. Факт № 2: она употребляла опиум. Опережая вашу мысль, что я решил пожертвовать достоверностью ради сенсационности, сразу уточню: она ни о чем таком не подозревала. То, что мы называем опиумом, она называла лауданум<sup>48</sup>. Остроумный, хотя и несколько богохульный, доктор окрестил этот препарат «Наш Лорданум»<sup>49</sup>, так как многие дамы девятнадцатого века – это достаточно дешевое лекарство в виде сердечных капель Годфри помогало представительницам разных классов одолеть черную ночь женской природы – прикладывались к нему гораздо чаще, чем к причастному вину. Короче говоря, это был близкий эквивалент наших сегодняшних успокоительных таблеток. Почему миссис Поултни стала обительницей викторианской «долины кукольного дурмана»<sup>50</sup>, мы ее спрашивать не будем, существенно же то, что лауданум, как

---

<sup>48</sup> Настойка опия.

<sup>49</sup> Господень напиток.

<sup>50</sup> Отсылка к американскому фильму «Долина кукол» (1967), где героини в Голливуде подсаживаются на «куклы», различные стимуляторы.

однажды обнаружил Кольридж, порождает яркие сны.

Мне трудно представить, что за картины о Верской пустоши в духе Босха рисовала в своем воображении миссис Поултни – какие сатанинские оргии под каждым деревом, какие французские развратные действия под каждым кустом. Но, кажется, мы можем с уверенностью утверждать, что это была объективизация всего того, что происходило в ее подсознании.

После ее гневного взрыва наступило молчание.

Выпустив пар, она решила поменять тактику:

– Вы меня сильно огорчили.

– Но откуда мне было знать? Я не должна ходить к морю? Хорошо, я не хожу к морю. Я просто желаю уединения, вот и все. Это не грех. И меня не должны называть за это грешницей.

– Вы никогда не слышали разговоры о Верской пустоши?

– В том смысле, какой вы в это вкладываете? Никогда!

Негодование девушки повергло миссис Поултни в некоторое смущение. Она вспомнила, что Сара появилась в Лайме сравнительно недавно, и, следовательно, вполне вероятно, могла не догадываться о том, какое общественное поношение вызывают ее действия.

– Что ж. Тогда надо внести полную ясность. Я не позволю никому из моей прислуги бывать в этом месте или даже рядом. Вы будете совершать прогулки в приличных местах. Я ясно выражаюсь?

– Да. Я буду гулять путями праведных.

В голове миссис Поултни промелькнула жуткая мысль, что над ней потешаются, но служанка с серьезным видом глядела в пол, как будто сама себя приговорила к тому, что праведность есть синоним страдания.

– Тогда больше никаких глупостей. Я это делаю для вашего же добра.

– Я знаю, – прошептала Сара. И потом добавила: – Спасибо, мэм.

Больше они не говорили. Сара взяла Библию и прочитала вслух отмеченный для нее отрывок. Тот самый, который она выбрала для их первой беседы, псалом 118: «Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем». Сара читала тихим голосом, безо всяких эмоций. Старая дама сидела, глядя в темноватый дальний угол. Она казалась языческим идолом, на время забывшим про кровавую жертву, которой требовал ее безжалостный каменный лик.

Позже в тот же вечер Сару видели – уж не знаю кто, вероятно, пролетавшая мимо сова – стоящей у открытого окна в темной спальне. Дом погрузился в тишину, как и весь городок, ибо в те времена, когда еще не существовало электричества и телевизора, люди ложились спать в девять. А сейчас был час ночи. Сара стояла в ночной сорочке, с распущенными волосами и глядела в открытое море. Над черной водой, где-то вдали, ближе к Портленд Билл, тускло мигал фонарик. Какой-то корабль направлялся в Бридпорт. Сара видела этот

огонек, но мысли ее были далеко.

Если бы вы приблизились, то увидели бы лицо, залитое слезами. Нет, сейчас она не несла свою мистическую вахту в ожидании сатанинского парусника; она была готова выброситься из окна.

Я не заставляю ее влезать на подоконник, чтобы податься вперед, а затем с рыданиями откатнуться назад и упасть на старый изношенный ковер. Мы знаем, что спустя две недели она была жива, а значит, из окна не выбросилась. Это были не истерические слезы, предшествующие роковому поступку, но проявление глубоких страданий, не эмоциональных, а выстроенных в логическую цепочку: медленно, но неостановимо выступающие, просачивающиеся, как кровь через бинты.

Сара, кто она?

Из какой темноты она вышла?



*Нам ли знать, что Создатель творит?  
Лик Иисуса сокрыт под вуалью.*

*Альфред Теннисон. Мод*

Сие мне неизвестно. Эта история есть плод моего воображения. Все персонажи существуют у меня в голове и нигде больше. Если до сих пор я делал вид, что мне ведомы самые потаенные мысли своих героев, то лишь потому, что пишу (прибегая к определенной лексике и воспроизводя разные «голоса») с учетом общепринятой условности того времени: романист – это почти Создатель. Даже чего-то не ведая, он изображает из себя всезнайку. Хотя я живу в век Алена Роб-Грийе и Ролана Барта, роман, который я сочиняю, не может быть романом в современном смысле этого слова.

Может, я пишу транспонированную автобиографию; может, я сейчас живу в одном из придуманных мною домов; может, Чарльз – переодетый я. Может, это все не более чем игра. И в наше время встречаются женщины вроде Сары, но я их никогда не понимал. Или считайте это приправленным сборничком статей. Вместо названия глав, возможно, мне следовало написать «О горизонтальном существовании», «Иллюзии прогресса», «История романной фор-

мы», «Этиология свободы», «Забывшие аспекты викторианской эпохи»... выбирайте по своему вкусу.

Быть может, вы считаете, что романисту достаточно потянуть за ниточки, и его марионетки задвигаются как живые и что они по требованию представят исчерпывающий перечень своих мотивов и намерений. Да, на данный момент (*глава 13 – раскрыть строй мыслей Сары*) мне хотелось рассказать все – или, по крайней мере, все самое существенное. Но я вдруг почувствовал себя человеком, который промозглой весенней ночью стоит на лужайке под неосвещенным распахнутым окном в «доме Марлборо». В контексте этой книги для меня очевидно, что Сара никогда бы не стала утирать слезы и открывать душу ночному небу. Если бы она увидела меня под только что взошедшей старой луной, то тут же развернулась бы и растворилась в сумраке спальни.

Но я же романист, а не зевака в саду, – разве я не могу следовать за ней куда угодно? Однако возможность еще не означает вседозволенности. Мужья частенько убивают своих жен – и наоборот, – и это им сходит с рук. Так вот, не сходит.

Вам может показаться, что романисты всегда работают по заготовленному плану: то, что было предсказано в главе 1, неизбежно произойдет в главе 13. Но авторы пишут по самым разным причинам: деньги, слава, рецензии, родители, друзья, возлюбленные, тщеславие, гордыня, любопытство, развлечение. С таким же удовольствием искусные мебельщики сколачивают свои изделия, пьяницы надираются,

судьи ведут дела, а сицилийцы разряжают стволы в спину своих врагов. Я мог бы составить целую книгу из причин, движущих автором, и все они были бы правдивыми – и одновременно ложными. Существует лишь одна причина, нас всех объединяющая: *мы мечтаем создать мир, неотличимый от реального, но не такой, как реальный*. Сегодняшний или вчерашний. Вот почему мы не можем ничего планировать. Мы знаем, что мир живой организм, а не машина. Мы также знаем, что подлинно воссозданный мир становится независимым от своего создателя; сконструированный мир (в нем четко просматривается план) – это мир мертворожденный. Только когда персонажи и события перестают нам подчиняться, они начинают жить своей жизнью. Когда Чарльз оставил Сару у края скалы, я приказал ему возвращаться в Лайм-Риджис. Но он этого не сделал; он своевольно повернул в сторону «Сыроварни».

Погодите, обрываете вы меня, в действительности вы хотите сказать: в процессе работы мне пришло в голову, что будет поинтереснее, если по дороге домой он немного задержится и выпьет молока... а затем снова увидит Сару. Можно, конечно, и так объяснить случившееся. Но могу лишь повторить (а ведь я самый надежный свидетель), что эта идея пришла ко мне от Чарльза. Он отвоевал себе автономию, и я должен ее уважать (игнорируя при этом мои псевдобожественные планы в его отношении), если хочу, чтобы он был живым.

Иными словами, чтобы самому быть свободным, я должен предоставить такую же свободу Тине, и Саре, и даже отвратительной миссис Поултни. Есть лишь одна хорошая дефиниция Бога: свобода, не ограничивающая другие свободы. Я строго держусь этого определения.

Писатель творит, и, стало быть, он бог (даже самый алеаторический авангардный современный роман не способен полностью уничтожить автора); другое дело, что мы перестали быть богами викторианского толка, всеведущими и декретирующими, мы обрели новый теологический статус: не власть, но свобода – вот наш главный принцип.

Я постыдным образом разрушил иллюзию? Вовсе нет. Мои персонажи продолжают существовать в реальности не более и не менее реальной, чем та, которую я только что разрушил. Вымысел есть часть целого, как выразился один грек два с половиной тысячелетия тому назад. Я считаю эту новую реальность (или нереальность) более сущностной и надеюсь, вы разделите мое убеждение, что я до конца не контролирую создания моего ума, как вы не контролируете – как бы вы ни старались, наши нынешние миссис Поултни, – ваших детей, коллег, друзей и даже себя самих.

Абсурдное утверждение? Персонаж либо «реальный», либо «воображаемый»? Если вы так думаете, *hypocrite lecteur*<sup>51</sup>, то в ответ я могу только улыбнуться. Вы даже о своем про-

---

<sup>51</sup> Лицемерный читатель (*фр.*). Цитата из стихотворения Шарля Бодлера «К читателю» в сборнике «Цветы зла».

шлом не думаете как о реальном, обряжаете его в одежды, приукрашиваете или очерняете, цензурируете, крутите так и сяк... одним словом, выдумываете и убираете на полку – теперь это ваша книга, ваша романтизированная автобиография. Мы все бежим от настоящей реальности. В этом суть гомо сапиенс.

Поэтому если вы полагаете, что данное неудачное (не забудем, что это *глава 13*) отступление не имеет никакого отношения к вашему Времени, а также к Прогрессу, Обществу, Эволюции и прочим ночным призракам с большой буквы, которые громяют цепями за сценой, где происходят события этой книги... я с вами спорить не стану. Но отнесусь к вам с недоверием.

Таким образом, я даю лишь фактологию: Сара плакала в ночи, но не покончила с собой; она продолжила, несмотря на строгий запрет, посещать Верскую пустошь. В каком-то смысле она выпрыгнула из окна и находилась в затяжном полете, ибо рано или поздно до миссис Поултни должны были дойти слухи о грешнице, умножающей свои грехи. Правда, ходила в лес она теперь реже, что поначалу далось ей легко, так как в первые две недели погода выдалась дождливая. Правда и то, что она предприняла кое-какие меры предосторожности военного толка. Гужевая дорога в какой-то момент переходила в тропу, не многим лучше самой дороги, которая, петляя, спускалась в широкую лошину под названием

Верская долина, где она соединялась, уже за Лаймом, с главной трассой, ведущей в Сидмут и Эксетер. В Верской долине были разбросаны вполне респектабельные дома, так что это считалось приличным местом для прогулок. К счастью, ни один из домов не выходил окнами на пересечение гужевой дороги с тропой. Оказавшись там, Саре нужно было только оглядеться и убедиться в том, что она одна. Как-то раз она решила прогуляться в лес. Но когда тропа привела ее к дорожке, ведущей к маслобойне, она заметила, что выше по склону двигается парочка. Свернув вбок, она удостоверилась в том, что парочка не идет по тропе, ведущей к молочной ферме, и только тогда продолжила путь и скрылась в своем убежище незамеченной.

Она рисковала столкнуться с другими гуляющими, не говоря уже о том, чтобы попасться на глаза дояру и его семейству. Последней опасности она избегала, приглядев для себя заманчивую тропку, не просматриваемую из маслобойни и ведущую через папоротник-орляк и лесную гущу. По ней-то она и ходила вплоть до того дня, когда опрометчиво, как мы сейчас понимаем, попала на глаза двум мужчинам.

Все очень просто. Она проспала и опаздывала на чтение Библии. В этот вечер миссис Поултни ужинала у леди Коттон, и потому привычный ритуал перенесли на час вперед, дабы дать ей возможность подготовиться к жестокой схватке двух бронтозавров (не столько внешне, сколько по своей сути): железный остов под черным бархатом против свирепого

оскала, брызжущего цитатами из Библии. Вот уж битва так битва.

После шока от устремленных на нее сверху глаз Чарльза она чувствовала, как ускоряется ее падение. Когда ты летишь с такой высоты и земля приближается с пугающим размахом, какой прок от всех этих мер предосторожности?

– В моем представлении хорошее общество, мистер Эллиот, – это общество умных, хорошо информированных людей, умеющих поддержать разговор. Вот что я называю хорошим обществом.

– Вы ошибаетесь, – мягко заметил он. – Это не хорошее общество, а высшее общество. Хорошее общество связано только с рождением, образованием и манерами, а что касается образования, то с этим дело обстоит не очень хорошо.

*Джейн Остин. Доводы рассудка*

В девятнадцатом веке гостям Лайма если и не нужно было проходить через испытания, сравнимые с теми, что выпадали на долю путешественников в древнегреческие колонии, – например, от Чарльза не потребовали произнести речь в духе Перикла, а также вкратце изложить мировые новости на ступеньках городской ратуши, – то их уж точно вовсю разглядывали и расспрашивали. Эрнестина уже предупредила Чарльза, что ему впору себя считать редким экземпляром, попавшим в зверинец, и надо по возможности радушно воспринимать бесцеремонные взгляды и нацеленные в него зонтики. И вот один-два раза в неделю он сопровождал дам в гости и часами изнывал от скуки, а единственным утешением ему была маленькая сценка, с приятной регулярностью разыгры-



вавшаяся в доме тетушки Трантер после их возвращения. С озабоченным видом вглядываясь в его глаза, остекленевшие от банальной светской болтовни, Эрнестина говорила: «Это было ужасно? Вы меня ненавидите? Я не заслуживаю прощения?» И в ответ на его улыбку кидалась в объятия, как будто он чудесным образом выжил во время восстания или горного обвала.

Так случилось, что горный обвал в награду за открытие, сделанное Чарльзом на береговом оползневом уступе, состоялся в «доме Марлборо». В этих визитах не было ничего случайного или спонтанного. Да и как иначе, если имена посетителей и принимающих распространялись в городке со скоростью молнии, и обе стороны соблюдали строгий протокол. Интерес миссис Поултни к Чарльзу вряд ли был больше, чем его интерес к ней, однако она бы смертельно обиделась, если бы его к ней не привели в кандалах, чтобы она могла поставить на поверженного гостя свою маленькую толстую ножку – и чем раньше, тем лучше, так сказать, почетнее.

Собственно, эти «иностранцы» были просто фишками. Сами визиты не имели особого значения, зато как увлекательно можно было ими поиграть! «Милейшая миссис Трантер решила, что я *первая* должна принять...», «Удивительно, что Эрнестина у вас еще не была... а нас она избаловала, уже два визита...», «Это она по недомыслию, я уверена... миссис Трантер добрейшая душа, но *такая* рассеянная...» Эти и им подобные уколы светской булавкой с пусканием слю-

ны напрямую зависели от появления «важного гостя» вроде Чарльза. И шансов избежать судьбы у него было не больше, чем у пухленькой мышки ускользнуть из лап голодной кошки... целой стаи голодных кошек, если быть точным.

Когда на следующее утро после описанной встречи в лесу домоправительница возвестила о приходе миссис Трантер и ее двух молодых спутников, Сара встала и хотела покинуть гостиную. Но миссис Поултни, которая всегда раздражалась при одной мысли о счастливой молодой паре и у которой после вечера с леди Коттон к тому же были основания испытывать и более сильные чувства, чем раздражение, попросила ее остаться. Она считала Эрнестину девушкой фривольной и не сомневалась, что ее суженый такой же фривольный молодой человек. Поэтому она почитала своим долгом повергнуть их в смущение. Кроме того, в ее представлении подобное социальное рандеву – это как власяница для грешника. Так что тут все сошлось.

Посетителей провели в гостиную. Миссис Трантер прошуршала первая, вся такая воздушная и радушная. Сара робко встала в отдалении с болезненным ощущением лишней в этой компании. А Чарльз с Эрнестиной в расслабленных позах дожидались своей очереди, стоя на ковре позади двух пожилых дам, которые так давно знали друг дружку, что могли себе позволить ритуальные объятия. А затем была представлена Эрнестина, сделавшая слабый намек на кник-

сен, перед тем как взять протянутую ей королевскую руку.

– Как поживаете, миссис Поултни? Выглядите вы просто превосходно.

– В моем возрасте, мисс Фриман, имеет значение только духовное здоровье.

– Тогда я за вас спокойна.

Миссис Поултни была бы рада продолжить эту интересную тему, но Эрнестина повернулась, чтобы представить Чарльза, который склонился над рукой хозяйки.

– Очень рад, мэм. Прелестный дом.

– Для меня слишком большой. Я его сохраняю из памяти к моему дорогому супругу. Я знаю, он бы этого хотел... он этого хочет.

Она устремила взгляд мимо Чарльза на главную икону в доме, картину маслом, написанную за два года до смерти Фредерика в 1851 году. Портрет ясно давал понять, что перед вами рассудительный, достойный, привлекательный христианин, возвышающийся над остальными. Он, конечно, был христианином и в высшей степени достойным человеком, но что касается остальных качеств, то тут художника увлекло собственное воображение. Давно ушедший мистер Поултни был полным, хотя и весьма богатым, ничтожеством, и главным событием его жизни можно считать то, что он ее покинул. Чарльз рассматривал этот скелет на земном пиру с подобающим почтением.

– Да. Я понимаю. Очень убедительно.

– Их желания для нас закон.

– Вы правы.

Миссис Трантер, встретившая Сару улыбкой, воспользовалась возможностью нарушить этот траурный антифон.

– Моя дорогая мисс Вудраф, как я рада вас видеть. – Она подошла, сжала Саре руку и с видом заговорщицы спросила, понизив голос: – Вы ко мне не заглянете, когда Тина уедет?

На лице Сары промелькнуло редкое выражение. При появлении миссис Трантер мониторящий Сарино сердце компьютер тотчас включил нужную запись. Сдержанность и независимость, рискующая перейти в бунтарство, то, что в присутствии миссис Поултни стало ее привычной маской, на мгновение куда-то исчезло. Она даже улыбнулась, хотя и не без грусти, и едва заметно кивнула: да, конечно.

Последовали дальнейшие представления. Юные дамы с прохладцей взаимно кивнули, а Чарльз отвесил легкий поклон. Он внимательно проследил, не выдаст ли себя гувернантка, с которой он дважды сталкивался накануне, но она старательно избегала на него смотреть. Он был заинтригован тем, как этот дикий зверек себя поведет в закрытой клетке, и очень быстро разочаровался: с явной и безусловной покорностью. Миссис Поултни совершенно игнорировала Сару, разве что надо было что-то принести или позвонить в колокольчик, когда дамы захотели горячий шоколад. Игнорировала ее и Эрнестина, как он заметил с неудовольствием. Тетушка Трантер делала все, чтобы вовлечь девушку в раз-

говор, но та сидела в сторонке с неподвижным лицом, отрешенная, что при желании можно было расценить как осознание своего пониженного статуса. Сам он пару раз вежливо поворачивался к ней за подтверждением высказанного мнения, да все без толку. Она едва откликнулась и по-прежнему избегала встречаться с ним взглядом.

Лишь к концу визита до Чарльза стало понемногу доходить своеобразие ситуации. Он понял, что эта молчаливая покорность противоречит ее природе и что она играет роль: полная оторванность и неприятие своей хозяйки. Миссис Поултни и миссис Трантер то мрачновато, то живенько обсуждали светские темы, ограниченные числом, но никак не во времени... прислуга, погода, предстоящие роды, похороны и браки... мистер Дизраэли и мистер Гладстон (хотя эту тему они завели вроде бы для Чарльза, хозяйка воспользовалась случаем, чтобы сурово осудить человеческие принципы первого и политические принципы второго)... затем они перешли к последней воскресной проповеди, к недостаткам местных торговцев и естественным образом вернулись к прислуге. Пока Чарльз выдерживал эту очередную пытку, улыбаясь, вскидывая брови и согласно кивая, он пришел к выводу, что молчаливая мисс Вудраф страдает от чувства несправедливости – и, как мог заметить тонкий наблюдатель, не очень-то это скрывает.

В проницательности Чарльзу не откажешь, ведь он увидел то, что прошло мимо жителей Лайма. Однако, вполне воз-

можно, это осталось бы на уровне подозрений, если бы хозяйка дома не разродилась характерным поултнизмом.

– Эта служанка, которую я рассчитала... она не доставляет вам больших хлопот?

Миссис Трантер улыбнулась.

– Мэри? Да я с ней в жизни не расстанусь.

– Миссис Фэйрли видела, как она сегодня утром болтала с одной особой. – В устах миссис Поултни это прозвучало так, как если бы два француза-патриота во время оккупации говорили о нацисте. – С неизвестным молодым человеком.

Эрнестина бросила в сторону Чарльза резкий осуждающий взгляд. На секунду ему пришла в голову дикая мысль, что это обвинение в его адрес, но потом он сообразил и улыбнулся.

– Это наверняка был Сэм. Мой слуга, мадам, – на всякий случай пояснил он для хозяйки дома.

Эрнестина от него отвернулась.

– Я не успел вам рассказать. Вчера я тоже видел, как они беседовали. Но мы ведь не собираемся им запрещать разговаривать при встрече?

– Существует огромная разница между общепринятым в Лондоне и тем, что считается приличным здесь. Мне кажется, вы должны поговорить с Сэмом. Девушка излишне доверчивая.

Миссис Трантер почувствовала себя задетой.

– Эрнестина, ты слышала? Мэри, возможно, девушка

пылкая, но у меня еще не было повода усомниться...

– Дорогая тетушка, я знаю, как вы к ней нежно относитесь.

Чарльз уловил сухость в голосе Тины и решил встать на защиту миссис Трантер.

– Побольше бы таких хозяек. Нет более верного признака благополучного дома, чем счастливая служанка, встречающая тебя у входа.

Эрнестина опустила глаза, характерно поджав губки. Славная миссис Трантер от такого комплимента порозовела и тоже склонила голову. А миссис Поултни встретила этот перекрестный огонь не без удовольствия, решив, что ее неприязнь к Чарльзу достигла того градуса, когда можно себе позволить грубоватый тон.

– Ваша будущая жена, мистер Смитсон, больше понимает в этом, чем вы. Я хорошо знаю эту девушку. Мне пришлось ее рассчитать. Будь вы постарше, вы бы знали, что в таких делах строгость не бывает излишней.

Она тоже опустила голову, по-своему давая понять, что она объявила эту тему и она же ее закрывает.

– Я склоняюсь перед вашим опытом, мадам, с которым мой опыт не идет ни в какое сравнение.

В его холодноватом тоне отчетливо прозвучал сарказм.

Все три дамы отводили глаза в сторону: миссис Трантер от смущения; Эрнестина от досады на себя, ибо невольно спровоцировала этот удар по своему жениху, уж лучше бы промолчала; а миссис Поултни в силу характера. И тут-то

Сара и Чарльз наконец обменялись взглядами, что ускользнуло от внимания трех дам. Это длилось всего мгновение, но оно было достаточно красноречивым: у незнакомцев оказался общий враг. Впервые Сара посмотрела не сквозь него, а на него; что касается Чарльза, то он решил отомстить миссис Поултни и преподать Эрнестине столь необходимый урок простой человечности.

Он вспомнил свою недавнюю стычку с отцом Эрнестины по поводу Чарльза Дарвина. В этой стране слишком много лицемерия, и подобного он не потерпит от той, на ком собирается жениться. Он поговорит с Сэмом, еще как поговорит.

Как именно, мы скоро узнаем. Но общий тон беседы уже угадывался, поскольку «одна особа» в эти минуты сидела в другом доме на кухне.

Утром Сэм действительно встретил Мэри на Кум-стрит и с наивным видом спросил, можно ли ему доставить сажу через час. Он, разумеется, знал, что обе дамы в это время будут в «доме Марлборо».

Их разговор на кухне получился на удивление серьезным, особенно в сравнении со светской болтовней в гостиной миссис Поултни. Мэри, привалившись к туалетному столику, скрестила на груди изящные ручки, а из-под рабочего чепчика выбилась прядка волос цвета спелой кукурузы. Время от времени она задавала вопросы, говорил больше Сэм, обращаясь преимущественно к хорошо отдраенному длинному столу. Лишь изредка они находили друг друга глазами, но



тут же, словно по обоюдному согласию, смущенно отводили взоры.

# 15

*...что касается рабочего класса, то полудикие манеры прошлого поколения сменились глубокой и почти повсеместной чувствительностью...*  
*Доклад из шахтерского поселка (1850)*

*...их улыбки  
Встречаются, светлы и зыбки...*

*Альфред Теннисон. In Memoriam*

Когда наутро Чарльз бесцеремонно полез в сердце своего слуги-кокни, он не совершал предательства в отношении Эрнестины, а о миссис Поултни мы вообще не говорим. Гости покинули ее дом вскоре после вышеописанной сцены, и всю дорогу вниз, до Брод-стрит, Эрнестина молчала, словно воды в рот набрав. А уже придя домой, постаралась остаться с Чарльзом наедине. Как только дверь за тетушкой закрылась, она разрыдалась (без обычного предварительного самобичевания) и бросилась в его объятия. Это была первая размолвка, бросившая тень на их любовь, что повергло ее в ужас. Ее милый, добрый Чарльз получил оплеуху от старой ведьмы, и все из-за ее, Эрнестины, мелкой обиды. Все это она высказала ему, после того как он похлопал ее по спине и вытер слезы. А еще он ей отомстил, без спросу поцеловав

ее в мокрые веки, и тогда уже простил окончательно.

– Милая моя глупышка Тина, зачем мы будем отказывать другим в том, что сделало нас самих счастливыми? Что, если эта испорченная служанка и негодник Сэм полюбили друг друга? Забросаем их камнями?

Она ему улыбнулась, сидя на стуле.

– Вот что выходит, когда пытаешься повести себя как взрослая.

Он опустился рядом на колени и взял ее руку в свои.

– Ты чудо-ребенок. И такой навсегда для меня останешься.

Она наклонилась, чтобы поцеловать его руку, а он в свою очередь чмокнул ее в затылок.

– Еще восемьдесят восемь дней, – пробормотала она. – Думать об этом невыносимо.

– Давайте сбежим. В Париж.

– Чарльз... да вы развратник!

Она подняла голову, и тут он поцеловал ее в губы. Она откинулась на спинку стула, зарумянившаяся, с влажными глазами, а сердце колотилось так, что того и гляди она упадет в обморок. Она была слишком слаба, чтобы выдерживать такие потрясения. Он задержал ее руку в своей и потискал не без игривости.

– Что, если бы достойнейшая миссис Поултни нас сейчас увидела?

Эрнестина закрыла лицо руками и закатилась, давась от

смеха. А Чарльз отошел к окну и попытался сохранить достоинство, но невольно оборачивался и ловил на себе озорные взгляды сквозь пальцы. В тишине комнаты слышалось сдавленное хихиканье. Оба подумали об одном: о свободе, пришедшей с новой эпохой, о том, как здорово быть молодыми, обладающими современным чувством юмора, отделенными пропастью от...

– Чарльз... Чарльз... а помните леди раннего мелового периода?

Оба снова приснули, чем еще больше заинтриговали бедную миссис Трантер, которая вся испереживалась в коридоре, уверенная в том, что молодые ссорятся. Наконец она набралась смелости войти в надежде исправить ситуацию. Смеющаяся Тина подбежала к ней и расцеловала в обе щеки.

– Милая, милая тетушка. Вы расстроены. Я ужасный, испорченный ребенок. Мне не нужно мое зеленое уличное платье. Я могу его отдать Мэри?

А в результате в тот же день Мэри искренне помянула Эрнестину в своих молитвах. Вряд ли они были услышаны, поскольку вместо того, чтобы сразу после вечерней молитвы лечь в постель, как положено, Мэри не устояла перед соблазном еще разок примерить зеленое платье. Горела всего одна свеча, но когда это было помехой для женщины? Рассыпавшиеся по плечам золотистые волосы, яркая зеленая ткань, дрожащие тени, умиротворенное и смущенное личико, удивленные глаза... если Господь ее сейчас видел, то наверняка

пожалел, что он не падший ангел.

– Сэм, я решил, что больше не нуждаюсь в твоих услугах. – Чарльз не мог видеть лица Сэма, так как зажмурился, пока его брили. Но, судя по замершей в воздухе бритве, он произвел должный шок. – Ты можешь вернуться в Кенсингтон. – Гробовое молчание смягчило бы сердце хозяина с менее садистскими наклонностями. – Ты хочешь что-нибудь сказать?

– Да, сэр. Мне и тут х'рошо.

– Ты бездельник. Я понимаю, что это твое естественное состояние. Но я предпочитаю, чтобы ты бездельничал в Лондоне. Там к таким, как ты, давно привыкли.

– Я ниче такого не сделал, мистер Чарльз.

– А еще я постараюсь тебя избавить от болезненных свиданий с этой дерзкой служанкой миссис Трантер. – Он явно услышал, как Сэм выдохнул с облегчением. Чарльз осторожно приоткрыл один глаз. – Я ведь добрый, правда?

Сэм с каменным лицом уставился куда-то поверх головы хозяина.

– Она принесла 'звинения. Я ее 'звинения принял.

– От обычной молочницы? Невероятно.

Чарльзу пришлось спешно закрыть глаз, дабы по нему не мазнули кисточкой с мыльной пеной.

– Это был впросак, мистер Чарльз. Настоящий впросак.

– Вот как. Значит, все вышло даже хуже, чем я думал. Тебе надо делать ноги.

Сэм, кажется, наелся. Мыльная пена так и осталась нетронутой, и Чарльзу пришлось открыть глаза, дабы понять, что происходит. Его слуга стоял с покаянным лицом – или, по крайней мере, изображал таковое.

– Что не так?

– Эт 'на, сэр.

– Этна? Ты ударился в вулканологию? Ладно, потерпи, я пытаюсь включить мозги. Выкладывай всю правду. Еще вчера ты говорил, что не подойдешь к этой дурнушке на пушечный выстрел. Или не говорил?

– Меня спровоцировали.

– Та-ак, и где же была *primum mobile*?<sup>52</sup> Кто кого «спровоцировал» первый?

Но Чарльз уже понял, что слишком далеко зашел. Бритва в руке Сэма дрожала – не от намерения совершить убийство, а от сдерживаемого негодования. Чарльз забрал у него опасную бритву и нацелил острием в слугу.

– Даю тебе двадцать четыре часа, Сэм. Двадцать четыре часа.

Сэм принялся тереть умывальник полотенцем, предназначенным для щек хозяина. После долгой паузы он заговорил с дрожью в голосе:

– Мы ж не лошади. Мы тоже люди.

Чарльз, улыбнувшись, встал, подошел сзади к слуге и положил ему руку на плечо, заставив того обернуться.

---

<sup>52</sup> Главная движущая сила (лат.).

— Сэм, ты уж меня извини. Но признайся, что твои прошлые отношения с прекрасным полом не предвещали ничего подобного. — Сэм обидчиво смотрел в пол. К нему понемногу возвращался былой цинизм. — Эта девушка... как ее... Мэри... эту очаровательную мисс Мэри, наверное, приятно подразнить... и чтобы тебя подразнили в ответ... подожди, не перебивай... но в душе она, как мне сказали, очень доверчивая. И я не потерплю, чтобы ты разбил ей сердце.

— Я прям кругом виноват, мистер Чарльз!

— Ну хорошо. Я тебе верю без отсечения руки. Но больше ты в этот дом ни ногой, и на улице с этой девушкой не заговаривай, пока миссис Трантер не скажет мне, что она не возражает против твоих ухаживаний.

Сэм в конце концов поднял глаза на хозяина и со скорбной улыбкой, как умирающий на поле солдат перед склонившимся над ним офицером, произнес:

— Я утка Дерби, сэр. Х'рошая утка Дерби.

Это требует пояснений. Речь идет об уже сваренной утке, без шансов на воскресение.

*О, Мод, ты так юна и так прекрасна!  
О чести пой, что смерти не подвластна,  
Я ж буду слезы лить о веке злополучном  
И о себе, ничтожном и докучном.*

**Альфред Теннисон. Мод**

*О чувствах между мужчиной и женщиной ничего  
я не ведал,  
Но однажды в широком поле, когда гуляла  
деревня,  
Я, отрок, «не находящий себе покоя», как сказал  
бы Теннисон,  
Вдруг увидел девушку без головного убора...*

**Артур Хью Клаф. Лесная хижина (1848)**

После описанного дня прошло пять ничем не примечательных. Возможностей для дальнейших обследований оползневого уступа Чарльзу за это время не подвернулось. Один день заняла экскурсия в Сидмут; остальные утра ушли на визиты или более приятные забавы вроде стрельбы из лука, вошедшей в моду среди юных английских дам; темно-зеленое облачение *de rigueur*<sup>53</sup> им так шло и так радовало глаз

---

<sup>53</sup> Требуемое этикетом (фр.).



джентльменов, что они, словно ручные, вытаскивали стрелы из мишени (в которую близорукая Эрнестина, увы, редко попадала) и приносили их охотницам с милыми шутками о пронзающем сердца Купидоне и девице Марианне, возлюбленной Робин Гуда.

После обеда Эрнестина обычно уговаривала его провести время у тетушки. Там обсуждались серьезные материи: нынешний дом в Кенсингтоне слишком маленький, а права на аренду фешенебельного особняка в Белгравии, куда они со временем переедут, еще два года не смогут перейти в руки Чарльза. Небольшая *contretemps*<sup>54</sup> заметно повлияла на Эрнестину; она сделалась с ним на редкость почтительной, такой послушной женой, что он чувствовал себя таким турецким пашой и даже умолял ее сказать что-нибудь поперек, а то ведь впереди их ждет христианский брак.

Чарльз страдал от ее готовности удовлетворить любую его прихоть, но при этом проявлял хорошее чувство юмора. Ему хватило проницательности, чтобы понять: она сама не ожидала от себя такой перемены. До размолвки она, пожалуй, была больше влюблена в идею брака, чем в будущего супруга, а теперь оценила не только статус, но и мужчину. Чарльз, надо признать, находил этот переход от внешней сухости к влажности порой несколько назойливым. Конечно, ему нравилось, что ему льстят, над ним трясутся, с ним консультируются, с его мнением считаются. Какому мужчине это не

---

<sup>54</sup> Размолвка (*фр.*).

понравится? Но за годы совершенно свободной холостяцкой жизни он по-своему тоже успел превратиться в совершенно испорченного ребенка. Никак не мог привыкнуть к тому, что эти утра ему больше не принадлежат и что планами на день, возможно, придется пожертвовать из-за какой-нибудь прихоти Тины. Конечно, он всегда мог сослаться на долг; у него, как у любого мужа, есть свои обязанности, и он должен их исполнять – все равно что во время прогулок по сельской местности носить толстую фланелевую рубашку и кованые ботинки.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.